

2022

Лункина
Людмила
Алексеевна

Место, где никогда не бывает зимы
(повесть)

specialviewportal.ru



ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ



ОСОБЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

**Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия
народов России**

Номинация «Эпос»

Всероссийский конкурс литературных работ
людей с нарушением зрения,
посвященный Году культурного наследия народов России

Номинация «Эпос»

Место, где никогда не бывает зимы

повесть

Автор:
**Лункина
Людмила Алексеевна**

*Если кликнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».*

Сергей Есенин

I СВЕНЬЯ

Тем, кто рискнёт прочесть, невзирая на орфографию, посвящается

Бывают песни. Которые-то просто песни. Другие ничего себе. Ещё отпадные. А бывают и вовсе стыдные. Стыдную песню спеть, как наждаком во рту почистить. Самая стыдная песня была про тётю Тоню. Можно не петь её, а просто сказать, чтоб понятно стало: какие — стыдные и какой стыд.

Прости нас, повар тётя Тоня,
Что мы не ели за столом,
Что мы кидались чёрным хлебом
И обливались молоком.

Тётя Тоня была блокадница. Она схоронила троих детей, которые от голода умерли, а дочь Валька — соседская девочка — потеряла родителей. Зять Мишка был такой же Тётятонин сын, а внучка Танька была из детдома. Потому что у Вальки на дистрофию дети не рожались.

Тётя Тоня на неучтённые продукты, которые все нормальные повара тащили домой, зашивала кулебяки для самых доходных детей. Она ловила доходяжку в посудомойке и совала за пазуху длинный горячий свёрток. Чтобы не выронить его, надо было бежать тремя прыжками на лестницу, на четвёртый этаж... И всё расступалось, зная, что кулебяка бежит. Потом её резали и ели все, кто мог и уже не мог, а тётя Тоня думала, что накормила самого слабенького ребёнка.

Отпадные песни доставляли большое удовольствие! Станем в рядок, вшлепнём руками и ногами:

Куба, отдай наш хлеб.
Куба, возьми свой сахар...
Куба, Хрущёва давно уже нет.
Куба, отдай наш хлеб.

И лица взрослых принимают выражение презрительное и гадливое, ротки перекашиваются слегонца, будто запихивают в рукав ехиднёвскую улыбочку.

Ни разу никто не сделал нам замечания про Кубу, даже

не попытались спросить, что это за Куба такая, которая забрала хлеб у Хрущёва. Та же участь преследовала песню:

Был бы ум бы
У Лумумбы,
Был бы Чомба
Не причём бы!

И другую:

Хлеб-пшеницу — за границу,
А картошку — на вино,
А колхознику — мякину
И бесплатное кино.

Откуда они брались, отпадные? Ответил на этот вопрос позже великий русский поэт Некрасов: «Не сами. По родителям...»

Учителя наши не пытались выяснить, по чьим родителям шла информация. Ни на одном собрании вопроса об отпадных не ставилось. Но раз отпадная стала стыдной.

«Хотят ли русские вина?» —
Спросил у Бога сатана.
А Бог сказал: «Поди к чертям
И поезжай в Россию сам.
Ты погляди на тех ребят,
Что в доску пьяные лежат,
И сам узнаешь, сатана,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские вина».

Наша «звёздочка» отбивала такт по коридору, и лица взрослых необычайно радовали нас и пугали. Нам казалось, что этот «отпад» даром не пройдёт, но ничего, прошло. Только уборщица Дусенька тихо, но так, что все слышали, сказала какому-то учителю старших классов:

— Не ругайте их, они же совсем маленькие.

Учитель этот грустно и укоризненно покачал головой, а нам сразу стало стыдно, что маленькие, и больше про вино это никто не вспоминал.

У нашей учительницы Анны Михайловны мы были первые. Казалось, она боится отпадных. Но она была такая милая, что при ней старались не «отпадать». И вообще при ней не лаялись, не собачились и не делали других престижных вещей. Она так краснела при виде всего престижного, что это престижное сразу становилось стыдным.

Весной после третьего класса задали написать сочинение на тему: «Как я провёл лето».

Асенька (наша Анна Михайловна была Асенька) — её все учителя старших классов так звали. Ну так вот. Она велела нам летом отметить для себя самые значительные события и запомнить их на всю жизнь.

Потому что этот год — год пятидесятилетия нашей родины, нашей Советской страны. В нашей стране делается такое, чего во всём мире ещё не делается. И вокруг нас так много необычного и удивительного. А мы являемся свидетелями небывалого эксперимента, имеющего огромное значение для истории человечества.

Лично мне никогда не приходило в голову, что я являюсь свидетелем. Я стал спрашивать, кто такие свидетели, и узнал такое, ни на что не похожее. Стал же я спрашивать про свидетелей после одного случая в первом классе.

У нас третьим уроком была «физ-ра», а у Асеньки — «окно». Через него можно заглянуть в другие классы и магазинчик. А на втором уроке мы писали предложения с разными словами: «максимальный», «великолепный», «аплодисменты»...

Я забыл чешки в парте и вернулся за ними. Внимание моё привлёк тихий жалобный стон на площадке между вторым и третьим этажом. Наш директор Виталий Антонович обнимал и гладил по голове Анну Михайловну и говорил:

— Ну не надо, Асенька, родная моя. Ну не стоит так нервничать. Хочешь, я сам проведу этот урок?

Так мы узнали, что она — Асенька. Дело в том, что нужно было объяснить нам значение всех этих слов, а она забыла. И в тетрадях появились такие предложения, забыть которые Анна Михайловна не сможет никогда.

Сверх меры отпадным оказалось слово «аплодисменты». Я, например, написал: «У меня совсем отвалились опладисменты, как только эта балерина закрутила ногой».

Витя Кущин написал: «Впереди нас бежали аплодисменты, которые опаздывали на поезд».

Но самым запоминающимся было предложение: «Аплодисменты захлопали в ладоши, когда Коля Робсон вышел на сцену».

Асенька выпила весь валидол в учительской и теперь была препровождаема в медпункт.

На четвёртом уроке Виталий Антонович спросил: «Знает ли кто-нибудь значения слов, с которыми составляли предложения?» Не получив ответа, он объяснил, что мы приходим в школу не только для того и даже не столько для того, чтобы беспрекословно выполнять всё, что нам велят. Мы приходим затем, чтобы научиться ставить вопросы и отвечать на них. Если ошибся один человек — нет ничего необычного. Но ошибка целого класса говорит о том, что люди не задумываются над поставленной задачей.

— И пожалуйста, прошу вас, никогда не употребляйте незнакомых слов. Лучше десять раз переспросить, проверить значение слова, чем употребить его неверно.

Я всё время задумываюсь над значением слов, но это ни от чего не спасает. Например: у наших соседей есть семь слоников. Они все

из слоновой кости, один меньше другого. И зовут их как-то всё меньше и меньше: Сунди, Мунди, а дальше не вполне видно... Ихний Костик говорит, что Хунди, Бунди, Дунди и ещё Мало-Ли-Как. Три последние и в самом деле совсем крошечные, поэтому, кто из них Мало, кто Ли, а кто Как, трудно угадать.

И в книжках непонятно. Например: про вещего Олега...

Из мёртвой главы гробовая змея

Шипя, между тем, выползала...¹

Мне говорят: «Обращай внимание на знаки препинания». Но всё равно непонятно: между чем она выползала, хоть и гробовая.

Нам жалко было Асеньку, что она «отпала» от аплодисментов, и мы её не дразнили.

Первого сентября Анна Михайловна пришла на линейку с крохотным ребёночком. Он сидел у неё за пазухой в сумке. Это был Митя, самое школьное из всех школьных существ на свете. Он потом так и жил то у папы в спортзале, то у бабушки в «живом уголке». Первую же половину сентября Митенька с мамой были ещё в декрете, и нам дали на подмену Евдоху третью.

Чтобы не звать по фамилиям трёх Евдокий Ивановнов, их пронумеровали, а в младшие классы обычно на подмену попадала третья Евдоха, самая невозмутимая преподавательница школы. Эта Евдоха всегда всё помнила и всё знала. Она сразу вспомнила про сочинение, хотя и не задавала его весной.

Но сначала мы стали выяснять, был ли кто-нибудь в местах, где никогда не бывает зимы. Я сказал, что это наша деревня, ведь мы как ни приедем туда, всегда лето. Все начали смеяться, а Евдокия Ивановна поставила на стол большую сумку и сказала, что была в таком месте, на островах Новозеландского архипелага. Она рассказала нам про то, как живут дети на этих островах, высыпала на стол много здоровущих волосатых орехов размером с голову. Орехи эти сорвали с пальм ихние дети для нас, а она подарила им много карандашей, открыток про нас, тетрадей и других школьных вещей.

— Никогда вы не сможете попробовать настоящих кокосов, они мне так сказали. Ведь орехи, как и бананы, собирают слегка недозрелыми, чтобы при транспортировке они не испортились. Я не очень понимаю, как под такой кожурой может что-то испортиться, но они, мне кажется, разбираются в этом лучше нас. Вы сейчас будете писать сочинение, а я вскрою орехи и раздам всем поровну мякоть и молоко.

Трудно было писать какое-то сочинение ввиду процесса вскрытия кокосовых орехов, но процесс этот слишком затянулся, и скоро к нему

¹ Пушкин А. Песнь о вещем Олеге. Здесь и далее примечания автора.

все привыкли. Каждому из нас досталось по стаканчику пахнущего земляникой молока и по четвертинке ореховой мякоти. Ведь это была действительно мякоть, а не те опилки, которые сыплют в кондитерские изделия стран Европы и Америки. Ребятишки с островов знали своё дело.

А сочинение написалось единым вздохом и состояло из самого главного, как велела Асенька. Тетрадка сохранилась — значит, можно привести его дословно.

«Самых значительных в это лето было два. Одно в деревне, а другое в городи́. Сначала в деревне. Там провели свет. Ведь наша страна самая великая и могучая в мире, и значит в каждой деревни должо́н быть свой свет. До этого там была лампа с блином над. Когда её вешали на потолок, он делался чёрный от блина. А когда стояла на столе, потолка не было.

Дядька киношник никому не доверял включить свет впервой хате у Монаховых. Он увидел меня и велел: «Ты городской, умеешь, нажимай».

Выключатель, как пуговка здоровучая и чёрная с трещиной. Из трещены торчит палочка от леденца тоже чёрная. Я чудо́к ни сломал об неё палец, ну и я нажмал. А щёлкнуло так, как дед Борисо́к пугой побо́ч стада. Это потому, что страна очень могучая. Просветило как... И сразу стало видно, где круг на потолке от керосинки, где у кого клопы жили и кто в каком месте чего пальцем вытирал. Потом вся деревня кинулась хаты белить, потомучто в новом свете жить стало срамнее.

А второе главное было в городи́. У нас за плитой жила Поросёнокмашка, а бабушка говорит, что она уже не Машка, а настоящая свенья. За плитой Машка не жила, а ховалась. Мы захо́вывали её туда, если чего. А свеньёв этих в городи́ водить нельзя. Это если все их позаводят, они съедят весь хлеб, вроде как Куба у Хрущёва. Поэтому вечерами по улицам ходят облы́жные дядьки и слушают у кого хрюкает. А услышат, велят резать и сдавать. И вот такой облы́жный дядька ходил, а мы усекли и сказали всем. Наша бабушка велела Машке залезть в подпол, а сама сидела на крышке и уговаривала. И уговорила. Она у нас теперь настоящий дресеровщик. Дядька этот зашёл к нам водички попить, а свенья ему не сказала и никогда не скажется, ведь из неё наделали колбасы и на Мишкину свадьбу съели. Вот и всё лето».

Асенька и правда была самая милая и хорошая, потому что она родилась под счастливой звездой. Или наоборот — родилась, потому что милая и хорошая.

Но вот в том, что ей всегда везло, я не сомневаюсь, ведь она ни разу за четыре года не прочитала ни одного моего сочинения. Она либо болела, либо была занята усовершенствованием учителей, либо болел я.

Когда Евдоха затрещала в пальцах нашими тетрадками с сочинениями, тихий ангел слетел на класс.

— Я предлагаю, прежде чем разбирать сочинения, провести каждому самостоятельную работу над ошибками. Ведь за лето многие из вас разучились обращать внимание на правописание, — сказала она. А потом подошла ко мне, погладила по голове тонкой, сухенькой, покрытой сетью трещинок рукой и тихонько шепнула: «Конечно, сочинение хорошее, но слово “свинья” пишется с буквой “и”. А проверочное?»

II

МЕСТО

Пётр Алексеевич сидел за столом в своём кабинете, а в кресле рядом с ним валялся мальчик. Мальчик именно валялся, как брошенная, вялая, свисающая до полу тряпка. Медпункт не работал, и не нашли ничего лучшего, как оттащить бьющегося в истерике мальчика в кабинет директора и там уже вызвать бригаду. Оставшись один без человеческих рук, мальчик перестал биться, а только глухо выл и свисал из кресла на все возможные стороны. За слезами, гримасами и воем, который поднимал в душе непонятную и оттого ещё более отвратительную глухую ненависть к мальчику, Пётр Алексеевич пытался и не мог разглядеть лица. Это вызывало чувство беспомощности и отвращения к самому себе. Появление ребёнка было внезапным, оторвавшим от просмотра хозяйственных бумаг, не шибко много доставлявших радости, к тому же безнадёжно и глухо, как ребёнок, ныл под «мостом» зуб.

Ожидание длилось. Секунды нагревались. И вот последняя дошла до кипения, подняла с места и заставила сделать вовсе несообразное: Пётр Алексеевич схватил мальчика, вздёрнул его на ноги и с безнадёжным отчаяньем взвыл, как он:

— Ну что ты в самом деле! Ну, давай вместе повоем. У меня зуб болит, а у тебя что?

Мальчик перестал выть, превратившись в изумление. Мысль о том, что такому большому и значительному человеку тоже хочется выть, подействовала на него, как запах нашатыря. Он всхлипнул, прижался щекой к руке Петра Алексеевича и прошептал:

— Я не буду, а вы таблетку съешьте.

Когда приехала скорая, они сидели в обнимку на диване. Мальчик не успокоился, а поминутно вздрагивал, всхлипывал и ничего больше не говорил. Пётр Алексеевич сам не спрашивал и не велел спрашивать, с чего началась истерика, потому что понял — маленький человек, как взрослый, приложил все возможные и невозможные усилия, чтобы успокоиться самостоятельно, но окончательно помог только укол.

За то время, пока ждали скорую, мальчик стал ему совсем родным. Пётр Алексеевич как бы перенял у него и принял на себя часть страдания. Маленькое тельце в его руках содрогалось под давлением несообразно разросшейся от обиды души. И душа эта, задетая чем-то, о чём не время было спрашивать, нуждалась в том безусловном и бескорыстном участии, которое исходило от взрослого, страдающего пустячной зубной болью человека.

— У Кости неврастения, — после выговаривала родителям мальчика молоденькая, любующаяся своей внешностью учительница

третьего класса. — Я прочитала только отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а он ни с того ни с сего зашёл в рыданиях.

— Что же вы прочли?

— Место, где старообрядка злющая говорит про ситцы, как пророчества голода: «А ситцы те французские — собачьей кровью крашены. Ну, поняла теперь?»

Преподаватели качали головами, советовали обратиться к специалистам, говорили: «Костя никогда не был склонен к истерикам, а этот случай показывает, что произошёл какой-то надлом...»

Пётр Алексеевич только пожимал плечами и качал головой. Костя не казался ему почему-то больным и надломленным. Скорее состояние мальчика походило на бессилие в утрате: те же беспорядочные судорожные движения, та же безнадёжная, бесполезная воля к самообладанию, то же неизбывное горе в глазах, льющееся через край, — всё, как у солдат, не донёсших в санбат раненого друга, или ещё... Да мало ли что ещё! Такого самого «ещё» директор школы на своём не слишком долгом веку повидал немало, но не стал ни больным, ни надломленным.

Пётр Алексеевич поймал себя на этой мысли и изумился. Концентрация событий, годных на то, чтобы сшибить лошадь (как говорят противники курения), в его сорок с небольшим лет превышала все допустимые нормы, но нечто держало, не давая скатиться в ноль. И нечто это охарактеризовал он как «место, где никогда не бывает зимы».

III

Для городских очевидно, что хлеб растёт буханками либо из земли, как свёкла, либо на кустах, как яблоки. Домашние животные — кошки, собаки. А все остальные коровы и овцы не дикие, но уличные. Местом же, где никогда не бывает зимы, является деревня, потому что там живут всегда летом.

Именно так и заявил маленький Петя, когда его принимали в школу. Ни о каких других местах без зимы он и слушать не хотел, а если хотел, то не верил. Картинки с пальмами и обезьянами не убеждали. Казалось, пальмы облетят, а обезьяны шерстяные и не боятся мороза.

Впрочем, городское Петино житьё поначалу отличалось от деревенского только отсутствием домашнего скота и птицы, наличием общественного транспорта и асфальтовых дорог. Его семья жила в маленьком бревенчатом домике с русской печью, лавками и полком. Правда, вместо деревенских сеней была терраса и ещё мягкий диван с креслами, а также зима каждый год.

Только много бед спустя Петя понял, что и в городе у него не было «зимы». Но это потом, а сначала про то, как не стало её в деревне.

Началось всё после обеда. Баба Домна с тремя малышами, старшим из которых был Петя, проснулась от невразумительного треска над головой. Потолок в красном углу почернел, и чёрность языками расплзлась, поглощая белое. Звучала, точно несостоявшийся кашель, и плевала подкрашенными кусочками извёстки.

Баба Домна третий раз попадала в пожар и сразу оценила обстановку. Горела терраса, горящая дранка сыпалась по скатам крыши, поэтому для отступления осталось одно окно, да и то наглухо забито.

Петя проснулся, а меньшие спали как ни в чём не бывало.

— Внучек, давай в печи прятаться? — предложила бабушка.

— Зачем? — изумился Петя.

— Отец придёт и поищет и поймёт, какой ты разведчик.

Глаза бабы Домны тихо смеялись, а Петя, спросонок не очень понимавший, зачем нужно прятаться в печь, послушно полез, куда велели. Ему подали сонных малышей и объяснили, что пока отец не окликнет и не откроет, не вылезать. «А то плохой ты разведчик...»

Баба Домна заставила загнётку чугунами с обедом, ведрами с водой, сняла и привязала себе на спину иконы и начала вышибать окно. Снаружи ей уже помогали. Когда вытащили и хотели лезть за ребятишками, рухнула крыша.

Петя сидел и слушал странные звуки, проникающие извне: «Хрооо-коок-ко-роухуожжжж». Эти же звуки, издаваемые ветром и камнями, в горах Афгана не раз слышал он. Там это называлось тишиной.

Пете сначала не было страшно, но потом маленькая Лиза

проснулась и обожглась о стену. Она начала плакать, а следом за ней и Коля. Петя вспомнил про разведчика, и показалось обидно, что бабушка обманула его и закрыла в печи. Он тоже начал было громко плакать, но, услышав свой голос, испугался и перестал, потому что понял: здесь он самый старший.

Петя давно знал, что старше всех и сильнее всех, поэтому начал уговаривать младших не реветь, а поиграть во что-нибудь. В тесной печке с раскалёнными стенами играть было невозможно. Можно было только прижиматься друг к другу, чтобы не обжечься. Малыши тоже перестали кричать. Напугались все, но ничего худого не случилось, а потому они прижались друг к другу и сидели так, пока не уснули.

Игнат Фомич заметил дым за три квартала. В телеге у него лежал большой зеркальный буфет, стол и четыре стула. Навстречу ему попался пьяненький Васёк-Гусёк, замахал руками и захохотал:

— Игнаша, чего стараешься! На кой тебе эти дрова? Давай пропьём их и с концами!

— Зачем же пропивать, — сказал Игнат Фомич, — я их домой отвезу.

— Ха-ха-ха... — Закашлялся Гусёк. — Куда отвезёшь?

— Домой.

— Да у тебя и дома-то нет, и дети твои погорели, и баба твоя умом повредила... Давай пропьём их к етням, да и всё...

Игнат Фомич не испугался, не удивился, лишь как-то онемел внутри. Он не хлестнул коня кнутом, не побежал, а остался сидеть на телеге, точно примороженный. Когда подъехал к своей усадьбе, увидел машину скорой помощи, носилки, на них бабу Домну с остановившимся взглядом и покривлёнными в неестественной ухмылке губами. На вопрос врач бросил короткое слово: «Инсульт».

Четыре домика в торцевой части квартала догорели почти совсем. Пожарные приехали, когда все крыши уже упали, тушить и спасти было нечего. Но пожарные расчёты всё-таки хлопотали со своими шлангами вокруг пожарища Игната Фомича.

— Больше людей нигде не было, только ваши.

— Хоть останки схоронить и то ладно, — говорили соседи.

Многие слышали, как кричали дети в горящей избе, и не могли взять в толк, почему они так долго кричат. Домна Петровна не объяснила ничего. Она даже и не встала ногами на землю, а мешком осела вниз, когда её вытащили.

Игнат Фомич стоял, оглушённый, чувствовал безмолвный стон толпы за спиной, глядел на тающие в чёрном дыму водяные струи...

Наконец, среди прибитого водой пепелища выявилась целая, не покосившаяся печь. Стало можно подойти к ней, но горячие кирпичи не позволяли заглянуть внутрь. Пожарные почему-то не уезжали, люди почему-то не расходились.

Кто бы мог понять, что за сила удерживает людей часами стоять на пожаре? Зачем собирается толпа, сколь далеко способно

простереться любопытство человеческое? Один Игнат Фомич понимал, зачем нужны люди. Они нужны были ему: чтоб стояли и молчали, чтоб держали на своих плечах по капельке тяжесть, придавившую Домну Петровну, чтоб не дали ей опуститься и раздавить его, Игната.

Приехала милиция. Оцепили верёвочкой погорелые участки. Начали опрашивать очевидцев. Все в один голос говорили: Гусёкин дом сам собой загорелся, а владелец его пришёл к пожарищу последним, совершенно пьян и, как сам он выразился, «не ночевавши дома». Набежавшие люди успели порубить заборы, не дали пожару расползтись дальше.

Только к вечеру появилась возможность освободить детей из печи. Игнат Фомич был рад уж тому, что сноха его лежала в роддоме, а сын был в поездке, и вернулись они, когда стало ясно, что дети живы.

IV

Домнушка так и не смогла вполне восстановиться: ходила перекошенная, говорила со странным каким-то восточным акцентом, почти ничего не могла делать, даже себя с трудом обслуживала. Но вокруг говорили, что главное в жизни она уже сделала, и теперь ей надо «ноги мыть и воду пить». Петя не понимал, зачем ей постоянно мыть ноги, если есть ещё руки, голова и другое.

Вообще у него были нелады со словами и пониманием. Например: он долго не мог понять, почему дядьки, строящие Гусёку дом, называли себя «орлами — вороньи крылья». Или почему дед Игнат говорил: «Эх ма! Была бы денег тьма. Купил бы деревеньку да жил бы помаленьку».

«Он чего, сейчас не живёт, что ли? А купит деревеньку — людей куда?..»

Но главное бесчинство вылезало из приёмника, особенно песни:

Заправлены в планшеты
Космические карты...²

«Зачем карты в планшеты? Чтобы в невесомости колода не разлеталась? А как же тогда играть? Планшеты ведь тормозят при тасовании!»

Петя никому не задавал вопросы про слова, потому что был уже взрослый и стыдно было не знать такого простого.

Петиному отцу от железной дороги дали квартиру, а дед Игнат построился, и это стало называться дачей. Детей было четверо, и комнат четыре. Обстановка в квартире очень нравилась Пете: все комнаты были заставлены высокими пальмами в квадратных ящиках, и среди них не худо игралось в Тарзана. Кроватей не было. Их заменяли настилы из досок, и на них перины — много перин. Домнушка сказала:

— Верно, вся Папсуевка пером скинулась, чтоб мы не помёрзли.

Папсуевка — деревня, в которой не бывает зимы. Там жил Петин дед Иван и баба Аня. Как та Папсуевка скинулась пером, Петя тоже не понимал.

Например, как Иван Царевич ударился оземь и скинулся соколом — понятно. Как Папсуевка скинулась пером — нет. Деревня осталась на месте, перо тоже. А если скинешься, надо обратно перекидываться... Если же перины задумают обратно перекидываться в Папсуевку — будет две Папсуевки. Но всё-таки без людей, а то они передерутся: кто настоящий, а кто перекинутый.

Пете даже хотелось, чтобы перины перекинулись обратно в Папсуевку. Тогда деду Игнату не надо и деревеньку покупать. Просыпаясь утром, он щупал перину и отмечал: «Сегодня не перекинулись».

² «Я верю, друзья». Слова В. Войновича.

Игнат Фомич работал в ОРСе, возил на лошади молоко с молокозавода по столовым. На строительство ему дали ссуду. Как понимал Петя, ссуду эту надо вовремя отдать обратно, а то засудят насовсем, как Вильку Троицына, который встречал ночью людей. Ещё такая песня есть:

Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту³.

Вильку засудили. Встречать некому. Можно прощаться на всех мостах. Пете было жаль этого Вильку. Он ходил в белых штанах, звался стилигой и орал толстым голосом под задиручную гитару песню про сиреневый туман⁴.

Чтоб не засудили деда Игната, отец с матерью отдавали ему свои авансы, а полочки оставляли себе. Баба Домна за убитого сына получала шестнадцать рублей, которые были совсем её. Она тратила их по своему усмотрению. А усмотрение это смотрело только в одну сторону: купить конфет и кормить всех возможных и невозможных ребятишек. Билеты в кино тоже были усмотрением, а ещё соль и спички. После смерти Домнушки соли и спичек не покупали лет восемь.

В первую же весну после пожара приехал дед Иван и заявил:

— Ребяток на лето беру себе. Домнушка с Игнатом отдохнут, да и денжат соберёте. Ребятишки ласковые, спокойные, слухмёные все, кроме Лизки. Ну да ладно, эту мы приглянем.

Так началось всегдашнее летнее житьё в Папсуевке.

Дед Иван был огромного роста, чёрный, курчавый и безбородый. Петя боялся его из-за безбородости. К Игнату в белую клинообразную бороду можно было заползти, если провинишься, а он гладил по голове и говорил: «Грехи-то вон из головочки, а солнышко в сердечко».

Иван никогда не говорил ни про грехи, ни про солнышко, а если дети шалили за столом или вертелись под ногами, либо закатывал ложкой в лоб, либо поддавал щелбанца. Это называлось у него «возложением наказания». Исключением здесь была маленькая Лиза с обожжённой ручкой. Её дед не «возлагал», а «воссаживал». Когда Лиза «зарывалась», дед хватал её за шиворот и сажал на печную грубку, на верх иконостаса, на посудный шкаф... Девочка сразу становилась беспомощной и притихала. Впрочем, Иван редко вмешивался в детские дела, говорил короткими рваными фразами, глядел всегда пристально и строго.

— Он у нас только пьяный нехорош, — объясняла баба Аня, — а так ничего себе.

³ «Мой костёр». Слова Я. Полонского.

⁴ «Сиреневый туман». Слова З. Торопчиной.

V

Пете долго не случилось увидеть пьяного Ивана, ведь летом страда, а в страду пьют одни лёжни. Вообще слов в деревне прибавилось, и Петя от их обилия стал ещё старше и осанистей.

У деда Ивана была одна тайная работа: выделка овечьих и кроличьих шкурок, а также шитьё из них шуб и шапок. Ярцевы были по породе кожевники и скорняки, и за это, вернее, за нежелание зарегистрировать кустарный промысел и платить налог до войны дед Иван сидел в тюрьме, а местные власти следили за ним, зная его наследственную страсть к этому делу. На их негласном счету он был записан кулаком ещё с тех благословенных времён, когда за подобное можно было «уехать в цугундер» или «голова не снести». Впрочем, голова — не яичко, снести её нельзя, вот Иван и не снёс.

К моменту цугундеров он был уже круглый сирота, старший в семье, кормилец и опекун шестерых несовершеннолетних сестёр. Поэтому, когда в район представили на него документы к раскулачиванию, там покривились, пришили Ивану год принудработ и пустили на волю с обещанием забыть, в какой кадлушке ставят квасы.

Иван забыл бы, но случилось погореть старшей дочери. У самого было своих двое школьников, один студент, средняя дочь где-то на краю света жила вдовой с двумя девочками да ещё четверо внуков... На трудодни платили палочку, подсобное хозяйство обложено было донельзя, а потому Иван и решил вспомнить старое.

Дела сразу пошли в гору. Он не только смог содержать свою семью, но и взял на себя обязанность летом забирать внуков и «одевать их с ног до головы». Петя, правда, сам одевался, Коля тоже, а маленькую Лизу одевала бабушка. И потому Пете казалось, что дед врёт и хвастается, когда рассказывает об этом заказчикам.

Первое лето с ними жила мама с маленькой Валею, а на другое детей отдали одних.

Кроме деда и бабушки, а также приехавшего на несколько дней между сессией и практикой Миши, в доме жили Витька и Зинка. Это были живые, смешливые ребята девяти и двенадцати лет. Они-то и являлись, как правило, причиной всех «базаров» за столом, «подлогов», «закладов» и всякого такого.

Витька смертельно боялся много чего. Например, ведьм, которых сам же придумал и о которых постоянно рассказывал с дрожанием губ и округлением глаз. Сначала Зина, а потом и Петя с Колей развлекались по этому поводу, как говорила Зина: «По полной программе».

Ведьма обычно появлялась, когда дед был не в настроении, а значит — поминутно. Она умела летать, шипеть, крутить и делать много чего. Для доказательства её появления требовалось составить губы трубочкой, прикрыть лицо так, чтоб была видна одна эта трубочка,

и сказать: «Фюиф!» Витя тотчас начинал поджимать ноги, ёжить плечи, прятать под мышки руки... Особенно некстати было это за столом или во время работы. Тогда дед сразу обращал на него внимание и ревел дурниной:

— Ну, блажной, приехало тебе? Как дело, так труситься!

Но Вите было не до отца, ибо со всех сторон ему подшёптывали про ведьму: как она сзади, сбоку и сейчас хватит за. Кончалось обычно киданием земли или ложек, общей свалкой и дедовым «возложением».

Пете скоро наскучило играть в ведьму, и он отвёртывался от подшипётовающих, чем снискал уважение и особое расположение деда. Впрочем, это не сказалося на взаимоотношениях с ребятами, потому что он ни разу не выдал зачинщиков ведьмы.

Сколько бы лет ни жил Петя в деревне, каждое приносило новые приключения и впечатления. Каждое — как наново.

В соседях у Ярцевых был один — Монах, а другая — Марьяна. У Монаха шестеро детей, а у Марьяны один Коля Горячий.

Вообще, Колина фамилия была вовсе не выговариваемой, Монахова тоже. Марьяну с Колей ещё дражнили Жайкиными. Это прозвище было тоже по имени, но не человеческому, а собачьему.

Была у них собачонка, вернее, череда собачонок с именем Жайка. Собачонки эти на протяжении многих лет отличались вздорным нравом, визгливым голосом и способностью лаять в два конца.

Если Жайку раздражить, она лает по своему обыкновенному манеру, а дражнящий либо бежит прочь с отвращения, либо плюёт в землю и ругается. Жайка, таким образом, была достаточно хорошим сторожем, ибо никому не хотелось созерцать двойной лай. И стоило ей «завестись», всяк, включая чужих собак, а иногда и волков, бежал прочь.

Марьяна была тихой неконфликтной старушкой, а Коля, будучи в детстве уронен, славился нравом крутым и непредсказуемым, за что и получил прозвище. Дед Иван, когда вели себя неразумно, кричал:

— Ты что, в детстве уроненный, что ли?

И вот однажды, приехав в деревню, Петя обнаружил, что у Марьяны случилось прибавление семейства. Коля Горячий женился и родил Стёпочку. Стёпочья мама пришлась ко двору так, что именем её никто в округе не интересовался, а звали Жайкой Дубль Два. Как там насчёт двойного лая, неведомо. Но в остальном она давала сто очков вперёд всем предшествующим представительницам фауны, гордо носящим её имя. Ещё бы, она же была из царей природы!

Баба Аня долго приглядывалась к новой соседке, беседовала с Марьяной, бывшей у ней в лучших подругах, но затем решила «расставить точки над і». Петя понял потом, что «ИИИИ» — соседская сноха, а точки?

В огороде Ярцевых рос гигантский куст крыжовника, впрочем, благополучно перебравшийся к Жайкиным и давший обильную и изобильную поросль. Но соседке показалось мало ягод со своей

стороны. Она начала просовывать руки за ягодами через жердь. Скоро руки перестали доставать, и в один преславный денёк Коля сообщил Бабане о том, что Жайка лезет к ним на крыжовник. После Коля не рад был, что сказал про это, потому что пришлось ему убежать за реку от Жайкиного звука.

Бабаня, как партизан, по борозде подкралась к крыжовнику и увидела Жайку, перевесившуюся животом через жердь, а руками в ягоды. Она, недолго думая, и немало сумняшеся, схватила Жайку за шиворот и приладила в куст вверх ногами. Вот на этом месте событий Петя дёрнул с огорода, как фашист из-под Москвы. Сыскался домой он лишь к вечеру, когда пострадавшая была препровождена к своей маме в Горохово. После этого она шарахалась от Ярцевской усадьбы, а бабушка рассказала про точки, как понял Петя, — следы крыжовничьего куста.

Монахи были совсем родные люди, но их животные!!! Петя лютой ненавистью ненавидел Монахов скот и птицу. Сколько горя доставили ему эти твари — хоть в деревню не езжай.

Первое: гуси. У Монаховых гуси были летуны. Когда они подрастали, то умудрялись поднимать на крыло пол деревенского гусяного поголовья. Все ухищрения по подрезанию крыльев и прочего результата не давали. В каждом дворе находился хотя бы один гусёнок, улетающий вместе с Монаховыми.

Когда вечером дед не досчитывался гусенят, случалась лупка. Про это Петя даже никому не рассказывал. Дед созывал способных к гусяной пастьбе детей и спрашивал: «Кто в стравлю пустил?» Конечно, все молчали, а дед хватал длинный прут и начинал, вращая им, стегать по ногам виновников — всех подряд. Лупаться было не больно, но унижительно. Приходилось прыгать через вращающуюся лозину. Причём ловкость деда достигала форм и размеров невиданных. Он умудрялся доставать всех одновременно и выстраивал лупку так, что удрать было невозможно.

Второе: Монахов козёл. Животное, уже по определению вздорное и описанное в мировой литературе, у Монаховых обладало свойством отвратительно верещать и появляться в самых неожиданных местах, особенно когда лезли в чужой сад за яблоками. Фискал, так звали козла, имел чутьё на яблочных воров, распознавал их задолго до того, как они задумывали своё предприятие, и выдавал криком, преследуя до самого назначенного сада и дальше.

Третья: корова Зойка. Эта тварь проявляла особый интерес к льняному и хлопчатобумажному текстилю. Стоило повесить какую-нибудь тряпку в зоне достигаемости Зойкиной морды, она тотчас пристраивалась и съедала всё без остатка, а пуговицы выплёвывала.

Однажды Зойка поймала Петю на улице и объела всего на предмет одежды. У него на рубашечке был целлулоидный воротник, невкусный, видать... Так и пришёл Петя домой в одном воротнике, застёгнутом

на единственную пуговицу, бывшую некогда верхней. К чести Зойки надо сказать, что она ничего не повредила у Пети, даже не оцарапала его и напоследок облизала, как своего телёнка.

Но отвратительнее всех были Монаховы куры. Хоть и говорят, что курица не птица, они перелетали через ограду или подкапывались под. Поклёванные огурцы и помидоры, раскопанные гряды были живым укором Петиной нерадивости, как огородного сторожа.

— От тебя никакой пользы, даже курей стеречь не годен! — ворчал дед. И от ворчанья этого хотелось бежать на край света, туда, где куры не водятся. А они водились везде. Возможно, не такие пронырливые, но всегда вызывавшие отвратительные воспоминания. Петя даже курятины не ел из-за этого.

Сам Монах был человек мирный. Он остался вдовцом с шестью детьми, и не только не опустил рук, не запил горькую, но и даже не пытался искать женщину. Впрочем, женщина сама нашлась через несколько лет. У неё было тоже пять детей, и она тоже никого не искала.

Монах перевёз её хату, поставил рядом и соединил обе половины просторной «залой». В этом-то безразмерном помещении и собиралось за обедом Монахово семейство. Стол был открыт для всех, и, как правило, Ярцевские внуки норовили присесть туда. Дед супился, бабушка возмущалась, а Монахи смеялись и говорили:

— Вот погодите, ещё ваши ребятки вспоминать будут наши обеды. Такого им нигде не видать.

И правда. Такого молока, как у Зойки, не было во всей округе. Можно было есть мёда — немерено, а главное, такого количества детей, которые все родные и желанные, трудно было найти ещё где бы то ни было. Подростки монашонки привозили на лето своих малышей. Они крепко дружили с одноклассниками так, что у Монаховых за столом обычно усаживалось до трёх десятков «ушастиков».

Дед Иван никогда у Монаха не бывал, хотя частенько беседовал с ним на предмет огородных посадок и других хозяйственных нужд. Он говорил:

— А что тама делать? Ни выпить, ни подраться!

Петя резонно замечал, что на столе у них это всегда стоит.

— Слово, что стоит. С кем пить-то её, с детьми, что ли?

Впрочем, Монах считался желанным гостем на всех деревенских гулянках за то, что мог искусно уладить любую пьяную заморочку и был непревзойдённым гармонистом. Он знал всё про всех, всю деревенскую подноготную, но никогда никого не «подставил» и не «заклал». А вот Петя однажды «заклал», да так, что мало не показалось ни ближним, ни дальним.

VI

У Ивана была корова Лыска и тёлка тоже Лыска. Звали их так одинаково, потому что меньшая Лыска предназначалась Игнату Фомичу, когда вырастет и чем-то покроется. А ребята привыкли звать свою корову этим именем.

Обеих Лысок надо было до срока кормить. Правда, Петя считал, что кормить надо и после срока, но никому этого не говорил. Кормить же Лысок было нечем, так как покосов не давали, и приходилось разжигаться сеном. Разжигались все, кроме колхозного начальства. Оно само себе сено выписывало. Разжигались обычно в колхозных стогах, а также по лесам и делянам, но там не давали лесники. Им надо было ставить магарыча или таиться, потому что магарыч пролетал по уху, а сена всё равно не давали.

Однажды Иван приглядел, где разжигаться, и для этого старшие вызвали из дома малышей, а Петя остался.

— Ты у нас за хозяина. Гляди. Мы на Плюховку пойдём, сена разжигаться, а ты поглядывай тут. Если чего — кликнешь, — наказывал дед.

Конечно (потом выяснилось), Пете требовались дополнительные инструкции: как по поводу терминов, употреблявшихся в узкоспециальном кругу, так и действий, бывших не совсем согласными с нормами социалистического общежития. Но выяснилось это потом. А сейчас дед решил, что смирный и рассудительный мальчик «поделает всё пучком».

Петя всё-таки спросил у Витьки:

- Что значит «разжигаться?»
- Взять себе, что «плохо лежит».
- Украсть?
- Ну, да, украсть. Так ведь плохо лежит...

Петя подумал: «Раз все — и Монах, и Марьяна — разжигаются, значит — ничего. Значит — и правильно делает, что плохо лежит. А то все деревенские коровы с голоду помрут». Он решил добросовестно поглядывать, а чтобы выглядело солидно, как у настоящего хозяина, задумал наготовить на завтра дров.

Во дворе у сарая стояла большая колода, на которой дед колот дрова. Петя положил на колоду доску и начал рубить. Доска не рубилась, и он подумал, что сначала надо попробовать топор на чём-нибудь, а потом пристраивать к доске.

Земля рубилась. Камни — нет. Скамейка не рубилась, а стояк у ворот — очень даже. Попробовал рубнуть колоду для дров — рубится. И решил, что колода эта зажилась на свете и пора именно её отправить на дрова.

Сначала топор легко вошёл в искромсанную мякоть верхней части колоды, но затем его заклинило. Петя вспомнил, что клин вышибают клином, и поставил на обух топора долбню — такую дубину осиновую,

которой дед обычно колотил по обуху, чтобы чурки кололись. Но долбня не помогла. Тогда пришлось колотить обухом другого топора по обуху застрявшего до тех пор, пока не треснули оба обуха.

На этом благодарном деле и застали Петю трое пришлецов. Они подошли незаметно, когда мальчик, уже отчаявшись выглядеть солидным хозяином, решил завопить во-козла. Первый — председатель сельсовета Митрофанович; второй — участковый Панкратыч; а третьего Петя не знал.

Митрофаныч подошёл, поздоровался с Петей за руку, участливо спросил:

- Что, навольгáл с топорами?
- Да вот ведь! — смущённо констатировал неудачу Петя.
- А дед игде?
- Пошёл сеном разжигаться на Плюховку.
- И с кем пошёл?
- С Бабаней и Мишиком. А Зинуля меньших увела.
- Ну, давай вызволю топор-то. А то влетит тебе от деда.

Он сунул острую щепку в топорную щель, долбанул пару раз долбнёй, и топор выпал.

— Эх, Аника-воин. Топоры-то негожи́ больше. Гляди-ка: обухи у них подтреснули навовсе...

Петя давно понял, что топоры негожи́, но поделать ничего не мог, а потому только краснел и пожимал плечами.

— Хочешь, пойдём сейчас на строй двор, я тебе другие топоры дам, а эти спишем. А то ведь смеяться над тобой, дровосеком, станут?

- Хочу.
- Только сперва скажи, овчинки у деда игде лежат?
- Какие овчинки?
- Ну, разные. Все, какие бывают.
- Сырые на погребнице — тридцать штук. Квасы́ — под казёнкой.

Выделанных тоже тридцать — на перерубе висят. А кроличьи вон — в тюке.

— Удивительно, — сказал участковый. — Лето, страда, а он и в колхозе не отлынивает, и тут успеваает.

- А как же! — резонно заметил Петя. — Он разве лёжень, что ли?
- Не лёжень, а кулак.

— Какой же он кулак? Кулаки — мироеды, а он — наоборот: всех один кормит.

— Ну, это долго разбирать, кто он такой, — подвёл итог участковый. Скажи ему: овчинки мы забрали, постановление составили и все вопросы будем решать уже с ним.

Когда Петя принёс со строй двора новые топоры, деда ещё не было дома. Это очень понравилось Пете. Он взял с полки книжку под названием «Общая биология», начал разглядывать схему наследственности и изменчивости, мух дрозифил и другое. В это-то время на дворе застучали.

Сначала застучали на дворе, а потом в сенях, а потом и в хате... Застучали так, что стука этого Пете не забыть. Когда говорят «застучали», он вспоминает, как Бабаня грохалась об пол снова и снова, вставая во весь рост, и падая опрометью, будто в воду. Петя не мог бы сказать, когда ей удавалось перехватывать дыхание, как смогла выжить на выдохе и крике. Билась она почти час, и теперь понятно, почему говорят «битый час». Потом Бабаня двигателью притихла в углу, но продолжала звучать ещё долго:

— Ай-яй-яй-яй-яй!!! А Вале шубку хотела. А Коле — ботиночки. А Витька — жених уж, а в коротких штанах ходит...

Длилась Бабанина песня до вечера и полночи, но не это потрясло Петю. Дед сначала, войдя, спросил: «Как было?» А потом сразу удлинился и утолщился, покраснел, выкатил глаза, и без того быв огромен, и вдруг «взорвался». Он начал реветь, громить домашнюю утварь, кромсать вышитые полотенца с икон, пинать Бабаню... А в промежутках между матом и пинками подбегал к насмерть перепуганному Пете, гладил его по голове трясущейся рукой и тихонько, как заговорщик, шептал:

— А ты не бойся. Ничего. Бог им этого не простит! Погорельцев обобрали!..

Потом дед схватил Петю на руки, ткнулся лицом ему в затылок, долго бегал по хате и плакал, как ребёнок. Так они вместе и уснули под Бабанино «яй-яй-яй».

Никто в тот вечер не ужинал. Зина подоила Лыску и напоила меньших молоком. Витя поправил подрубленную воротину. Никто не смел спрашивать деда, что случилось.

Наутро он выслал всех, кроме Пети, вон. Сперва обновил квасы, сунул туда случайно не конфискованные овчинки, а потом поманил Петю пальцем и, сгибая палец этот, как будто дразнился, буркнул:

— Садись и пиши.

— Чего писать?

Дед бросил на стол пачку телеграфных бланков. Петя под диктовку деда заполнял бланки следующими словами: «Я вырастил тебя, и за это ты должна мне...» А дальше была сумма с двумя нулями. Только на разных бланках суммы были разные. Петя спросил — почему, и дед ответил:

— У Авдоткиного сына машина — может заработать, у Верки корова — телёнка продаст, а у Нюры ничего нет, кроме больной внучки, — взять негде. А не написать — тоже нельзя, получается хуже других.

Петя тихонько посчитал сумму, заявленную в телеграммах, и понял, что она сравнима с Игнатовой ссудой на строительство. «Штрах» за сено начислили и на деда, и на Бабаню, а главное — на Мишу. И здесь неуплата уже грозила исключением его из университета.

За незаконный промысел начислили «от балды», как рука велела. К тому же, ещё стоимость шкурки... Но дед сказал, что заказчики простили ему все шкурки. Только он так не может! Они простили по человечеству, да шкурки-то у них тоже не казённые. А потому — отдавать придётся.

Правда, отдавание шкурки и денег за шкурки получается растянутым во времени, «а штраф надо платить скорее, а то припишут прошлые годы, ведь без давности как рецидив. И тогда дед получится хуже убийца. Убийцев Петя никогда не видал, а потому не мог сравнивать их с дедом — хуже они или лучше.

Дед завернул бланки и деньги в газету, велел Пете поехать на станцию и отдать свёрток Тане, телеграфистке, и никому про это не говорить. Петя и сам решил больше никому ничего не говорить про своих, пока не разберётся со словами.

На станции он встретил Монаха, купившего ему мороженое. Петя сначала отказывался от мороженого, но Монах сказал, что своим ребятам всё равно не довезти, а мороженое такое хорошее — «хоть мы с тобой поедем».

Им попался Трофим Митрофаньч, вернее, он обогнал их на мопеде, и Монах вопреки обыкновению не поздоровался с ним. «Неужели знает, что этот погорельцев обобрали?» — подумал Петя, но спрашивать не стал.

VII

У ворот Монах поставил свой велосипед рядом с Петиним, сжал его локоть и сказал:

— Пойдём-ка в хату. А то дед твой сейчас всякого обругает и выгонит.

И правда. Дед приподнялся с табурета, упершись руками, как для броска, хотел было рявкнуть на Монаха, но, увидав Петю, сдержался.

— Вот, Ваня, денег я тебе принёс. Знаю, просто так на помощь не возьмёшь, а в долг всю сумму — пожалуй. У меня на книжке были, старшие присылали на детей. А ты отдай мироедам-то. А мне можешь хоть тёлками, хоть поросятами расплачиваться. Хочешь — деньгами, если получится. Мы тут рядом с тобой живём. Я твоё хозяйство знаю, тебя знаю. Что отдашь, как случится, тоже знаю. А кроме нас, никто того и знать не должен.

Петя ожидал от деда на это какой угодно реакции, только не той, которую дождался. Дед начал краснеть и увеличиваться, как давеча. И понял Петя причину покраснения и увеличения деда, лишь когда оглянулся. В дверях стоял Трофим.

Но взрыва не случилось. Монах шагнул, обнял деда, начал быстро-быстро гладить обеими руками по голове и плечам и заприговаривал:

— Пожди, Ваня, чуток пожди... Морду начистить и выругать завсегда не сложно. А мы-тка давай его спросим, на что он эдак-то учинил?

— Чего это я учинил?

— Не знаешь чего?

— Не знаю. А вот он знал, что овчинки — кустарный промысел, советской властью не разрешённый? Капиталистическая деятельность! Знал и всё равно делал.

— А пожар знал, что хаты палить нельзя?

— Ты, Федюня, байки-то мне тут не лей. Не с детьми, кажись. А вот скажи, почто незаконную деятельность покрываешь, наказание смягчаешь?

— Да я и не смягчаю, а случаем пользуюсь. Ты что же думал, я ему деньги за милые глазки даю? Нет. Даю я ему их под проценты, и под большія!!! Слыхал, поди, уговаривались: чтоб отдавал мне те проценты тёлками и поросятами. Я деньги-то ему дал, а теперь соки из него выжимать стану, и ты мне за это ничего не сделаешь.

Петя совсем перестал понимать что-либо: дед, ещё минуту назад собиравшийся взорвать всю хату, прикрыв ладонью рот, содрогался в беззвучном хохоте, а Митрофаныха наоборот — начал возрастать в объёме.

— Это как же не сделаю? Это почему же не сделаю? Называется твоя дель ростовщицеством и преследуется законом.

— А почём кто узнает, что у меня такая дель?

— Дак ты же сам сейчас сказал!

— Чем же ты докажешь, что я сказал? Больше-то никто не слышал? А ты можешь и по злобе наговорить. А я на деревне трепачом слыву. А ему невыгодно правду тебе говорить и защиты от меня у тебя просить, ведь ты сам на него напал?

— Федос Михалыч, не трави ба́йду, не затопишь. Признавайся, на каких условиях деньги дал.

— Ни на каких, да и не давал вовсе, и даже с книжки не снимал! Можешь проверить.

Трофим сделался маленьким, кругленьким, превратившись в тихое урчание: «Я-р-тебя... Я-р-тебя...»

— Чего меня? А может — тебя?

— А того, на партсобрание вызову. Поймёшь у меня тогда!!!

— Да я уж и теперь понял.

— Чего понял?

— А того, что запутался ты, Трофима, как вошь в чесальню. Вот когда мы с тобой под Синим мостом лежали⁵, не путался, а теперь поймался и только головкой вертишь и ножками дрыгаешь.

— Ты Синего моста не трогай!

— Почему же не трогать? Он, мост тот, не заказанный, на своём месте стоит. Поди и ты потрогай.

Трофим плюнул в пол, крутнулся на каблуках и хотел было выскочить из хаты, но Миша стал в дверях и загородил ему дорогу.

— Ну, чего? Поймали! Как последнего щенка поймали? Ну, давайте, развлекайтесь пока!

— Зачем развлекаться, — тихо произнёс Миша. — Мы сейчас прямо тут собрание проведём. Называется: кулаки и разбойники.

— Садись, Трофимушка, рядом и послушай, и сам скажи, не бойся. А то покамест ты сильно храбрый только полы пачкать да двери дёргать.

Трофим сел и вывалил руки на стол. Руки эти серые, короткопалые, с траурной каймой под ногтями, все изрезаны, сколоты, сбиты на работе. У деда другие руки: тонкие, гибкие, и если б не мозоли и навек ввевшаяся в кожу земляная пыль, напоминали бы руки музыканта. У Монаха ладони широкие и плоские, как табуретки, даже цвета они табуреточного. На них можно сидеть, ставить что-нибудь, ими можно укрываться от дождя...

Петя часто придумывал про руки разных людей, как Витя про ведьму. Казалось ему, что руки даны человеку вместо паспорта затем, чтобы другие люди, не задавая вопросов, могли составить себе мнение о владельце их. Они, руки, жили отдельно, независимо от того, какими бы хотел представить их хозяин. То, что они делали, накладывало

⁵ Мост через Десну возле посёлка Выгоничи. Знаменит множеством попыток подрыва партизанами.

на них отпечаток и формировало их облик. Пете казалось, когда человек делает доброе дело, руки молодеют и сильнеют, а когда злое — наоборот. Доказательством тому были ему руки стариков. Они только на первый взгляд дряблые, сухие, слабые, а потом, как приглядишься, видно, сколь они прожили свою рукастую жизнь. И от иных исходило тепло и сила, а от тех...

Трофимовы руки не казались Пете ни злыми, ни глупыми, но сейчас он видел, что все здесь против Трофима за то, что он «погорельцев обобрал». Когда в Папсуевке узнали про Ивановых погорельцев, Трофим первый принёс ему мешок картошки и перину. Почему и зачем получается, что он обобрал, Пете было непонятно.

— Итак, — сказал Миша, — Трофим Митрофаныч, ты считаешь, что на законном основании наложил штраф на нас?

— Да. На законном.

— Каким же законом и от какого года регламентировано ваше решение?

— Ты вот что, грамотей, сена колхозные воровать — ты тоже грамотный?

— Где ж нам ещё прикажешь сена брать? На трудодень мне его ты не выступишь. Косить запрещаете даже по откосам и рвам. Скотину чем кормить прикажете? А молоко расписано по сдаче на каждый двор вне зависимости от того, есть на усадьбе молочный скот или нет.

— Это разнарядка сверху.

— А ты куда глядел, когда разнарядку подписывал?

— Я вообще-то председатель сельсовета, а не колхозное начальство.

— А какого же тогда лез, куда не звали?

— То есть как не звали? Очень даже звали! Пришёл участковый с этим из районных органов. Сказали: заявление от населения есть, что Ярцев нарушает. Вот мы и пошли выяснять.

— А твоя корова какими сенами питается?

Трофим Митрофаныч покраснел до кончика носа, заёрзал на месте. Руки покрылись испариной, глаза забегали...

— Я в счёт зарплаты сено получаю.

— А мы в счёт трудодней нет? Почему?

— А хрен вас знает почему. Я получаю и доволен, а вы не получаете и тоже довольны. Как же получается? Выходит: вы честные, а я жулик, или наоборот? А может, мы все кругом честные или жулики?

— Видимо, все жулики, — сказал Монах. — Законы ваши и дёла наши друг друга уравнивают.

— Почему же законы наши? А ваши законы игде? Будто по разные стороны закона того мы с вами получаемся?

— Выходит, что получаемся. Мы ведь с тобой, Трофима, в одном классе учились, в партизанах с одной кружки хлебали, в одной лощине смерти дожидались. А потом вдруг как-то получилось, что ты честный, а я — нет? Или наоборот? А получилось это после того, как я тебя

на должность выдвинул. Ведь это я тебя выдвинул? А сделал я это не затем, чтобы об твои руки властью пользоваться, а потому как ты — честный человек.

— Тогда почему же я виноватый?

— А потому, что господином твоим тот самый закон стал. У одного господином мощна становится, у другого продвижение по службе, у третьего баба или ещё чего ни то. А у тебя — закон с духом и буквой.

— А твоим господином честность, что ли? Такой уже честный, ажник дражнут Монахом! На поверку-то из этого выходит — вы против закона и против власти?

— Закону твоему, как Щукарёвой кобыле, по зубам-то лет сто будет. Когда только власть становилась, может, и надобны были такие законы. Не знаю, не жил тогда. А как устоялось всё, врагов поменяло, законы надо менять. Причём начинать надо снизу, с колхозного устава. Игде эти самые уставы поменяли вовремя, тама теперь хозяйства миллионеры, а у нас чего?

— Дак вы ж на собраниях не сидели бы язык в заді, а предложили бы поменять. А то только по заговальням храбрые. А тама сидите и усё одобряете.

Вот хоть вы с Иваном: у тебя четыре свиноматки; да по двенадцать поросят; да по семьдесят рубликов каждый... Городской инженер такого жалованья не получает, как ты. А ещё мёд; да сто сот картошки; да двести гусёнок; а курей сколько? И прикрываешься ты своей многодетностью. А сыны-то на машинах в город работать ездят; а снохи только в колхозе числятся... Выстроил ты своё хозяйство так, что и пододраться нельзя. Четыре семьи у тебя считается: свой колхоз завёл, а на этот колхоз глядишь, как на необходимое зло, разновидность казённой подати.

Ванька то же самое: работает в колхозе исправно, чтоб не вязались к нему. А сам цыплятами торгует по записи. Грамотей-то создал в «холодной» лежанке кубатор на пятьсот яиц, за сезон трижды заряжает. В казённых кубаторах цыпляты тридцать копеек, колхозные по полтине, а тута семьдесят. Зато тама петушков с половины — эвона! Я тоже уже своих наседок не сажу, а у него цыплят покупаю! Из десятка девять курей — как тут ни купить. Он по курям слово знает, вернее, баба его.

Да и сам я живу жалованьем председательским, огородом и пчёлами. А колхоз и правда для нас получается — вещь вовсе негожая, вроде Петькиного топора: был топор, да с обуха надтреснул.

Тишина наступила глухая и душная. Никто не хотел глядеть в глаза друг другу. Круговая и безусловная вина придавила всех сразу. Как-то случилось, что Трофим перестал быть пойманным зверьком, а стал таким же — не менее виноватым, но одним из.

— Виноват я уж тем, что за овчинки икнул. Если разобраться: зачем икнул? Не знаю. Перед районным выслуживаться ни к чему было. Сердца на Ивана не держал. А как-то само вышло, точно под язык толкнул кто. Да как гладко-то вышло, а как подло!!! Ажник до сих помыться

хочется, да не отмоешь.

— Ого! Прямо как у попа на исповеди заговорил, — взвился Иван. — Просили тебя или как?

— Не просили, а может, и просили. Вот Федя просил послушать и сказать. Да мне и самому занятно стало разглядеть, каково оно. Ты, Ваня, никогда разве не разглядывал, скажем, тела своего, рук и другого? Зачем делать так — неведомо? Или комар сидит на руке твоей, кровь пьёт, а ты разглядываешь, как в него красненькое заполняется даже не по капле, а по одной клеточке. Занятно это, особенно в детстве занятно бывает, хотя чего там занятного? А вот душу разглядеть трудней и нехотливей: совесть или, проще сказать, бессовестность мешает. Начинаешь сразу думать: что ты не у попа на исповеди, что ты ничем не хуже людей, а это твоё глядение — блажь безнуждная... Зато когда приглядишься, становится вовсе ничего не понятно. Я не каюсь перед тобой собрался, а понять: откуда у чего ноги растут.

— И что же понял?

— А то, что всякие ноги растут, откуда и положено ногам. Только один место это для выращиванья ног на месте держит, а другой выше головы задирает. Причём каждый может и заирать, и не заирать одновременно.

— Значит, хочешь сказать, что все беды в отечестве нашем от «места»?

— От него родимого, как ни крути. Была власть царская, крепко была, от недругов держала, да сработалась. Сменили её. Пришла советская. Вроде как наша власть? И тут бы в самый раз любить её и холить, держаться за неё, как за матернину юбку, а нет. Сложилось тако по власти: кому до себя, кому до светила, а большинству до дна.

Миша, расстановив слова, как бы подвёл итог:

— А нет оттого, что на смену царскому чиновнику пришёл советский, который, по сути, в свой интерес смотрит и своё «место» в меру задирает? Так, что ли?

— Видно так, сыночек. Видно так.

— Чиновник — понятно. А как же обыватель?

— А я думаю, — сказал Монах, — каждый человек при разном положении бывает и чиновник, и обыватель. Если уж на правду судить, вот хоть я: перед тобой обыватель, перед своими детьми вроде чиновника, а перед беспартийной Жайкой и вовсе начальство недосыгаемое.

— Мне сдаётся, Федя, — сказал Иван, — Жайка эта и донесла по злобе за крыжовник. Районный приехал, она и подсуетилась.

— А ты, батя, сердце на неё держишь или как? — спросил Миша.

— Какое сердце на дурака держать! Сам дважды дурак выйдешь. Правда, по пьяни лучше б ей оберечься. Подвернётся, заголю и сделаю крыжовник с другого конца, чтоб лаем соответствовала. Так ей и передайте.

Долго ещё в Ярцевой хате мыли кости чиновнику и обывателю

вкупе с Жайкой, властью, совестью и другими словами, значение которых постиг Петя много позже. Не разумом постиг, а нутром, кожей: как тепло и холод.

Трофим потом тишком принёс деду овчинки (их «провернули» и списали). А штраф пришлось платить. Но главное, никто никогда, ни сразу, ни после до самой Ивановой смерти не упоминал Петиного имени в связи с этим делом. То, что случилось у дровяной колоды, навсегда потонуло в Ивановом мате и Бабаниных «яй-яй-яй!».

Лишь спустя тридцать лет Авдотья Прокоповна, уже неспособная двигаться, узнав, что Петя Ванин внук, спросила: «Зачем понадобились Ване деньги». И понимающе вздохнула: «О-хо-хо... С властями туго бывает».

VIII

Вспомнил Пётр Алексеевич, как в третьем классе кричал, бил кулаками и ногами, как отхаживали его в медпункте, когда прочла учительница рассказ про Павлика Морозова. Алексею Игнатьевичу тогда тоже говорили о специалистах, о скрытых последствиях стресса.

А Петина душа разрывалась от горя, первого в его жизни настоящего человеческого горя. Он представил себе жизнь Павлика до «подвига»... Если они за такое могли убить мальчика! Не в запарке убили, а выследили! Каковы же были они? Какова же у них глубина взаимной ненависти? И каково же Павлику жилось вместе с ними? Что имел он в жизни, что нёс и с чем пришёл к последней минуте? Об этом невозможно было рассказать, просто не хватало слов, да и сейчас не хватило бы.

— Ты про Павлика Морозова слышал? — спросил Петя как-то деда Ивана.

— Слышал, а то нет!

— Ну и чего скажешь?

— Гады, вот чего.

— Кто гады?

— А все подряд.

На том и кончился бы разговор, но вмешалась Бабаня:

— Делали, чего хотели: сын на отца и брат на брата!

— Замолчь уже, про что не знаешь, займись уже чем ни то!

— Чего йто замолчить? Не стравливали, скажешь, людей? А ни то ли, как тебя с Хванасом стравили?

— Хванаса того я чудок не убил, да. А только не про это спрошено было.

— А про что?

— Про ворона в пальто.

Дед хрустнул пальцами, отбросил в сторону скребок и начал:

— С Павликом энтим мы, кажись, с одного года. У него, слышал, мать была. Правда, стерва, но всё-таки была. А моя-то умерла в родах девятым ребёнком. После матери остались мы — восемь девок, один я. Старшей, Тане, было четырнадцать, Кате — двенадцать годов, а мне десять.

Женился отец на молодой. Она уж не девка была и пошла за вдовца такого бременного, чтоб прикрыться и грех замолить. Ну и делала всё, как положено совестью и Богом: терпела девчоночью дурь, сносила капризы, работу тянула всю, какая ни есть... Люди и радовались, и завидовали на неё, и злобились иные ухажёры, что за глупым-то грехом настоящее проглядели. Только я убил её. Не сам убил, а всё-таки я.

У нас на дворе лесник пристал: порубщиков сустречал тут. Ведь на росстани хата наша, да и сродствием каким-то доводился он Анфисе.

Вот лесник-то ружьё на стену повесил, а сам, как возы завидит, вон из хаты — встречает, значит. Встретит, а те ему магарыча. Деньгами —

неведомо там, а водкой — ведомо, потому что набрался он после пяти уже порубщиков так, что и сустречать уж не мог.

Ну и отстался ночевать у нас. А на утро с похмелья заново начал на дорогу зикать, а потом обратно в хату. И каждый раз хозяйке-то кланяется и приветствует: «Здравствуйте вам! Мира вам да совета!»

А она-то сидела вон с Авдоткой, клубки супрядные мотала. Авдотке годов пять было. Ну, вот она руки держит, а Анфиса с её рук супрядок на клубок и мотает. Заходит какой-то сорокнадцатый раз лесник и приветствует, а она ему:

— Шёл бы ты со своим миром уже домой, а то шастаешь тут. Хату застудил, детям хворость наносишь... А не пойдёшь, я тебя клубком убью.

— А я тебя из двустволки застрелю — не худо против ружья-то нитками?

— Ну, давай, — говорит, — застрели.

Взял он тогда ружьё и застрелил её из двух стволов сразу. С одного ствола дробью стреляно было, а с другого пулей. Я, значит, так-то зарядил. Он-то знал, что ружьё не заряжено, а того не знал, что я есть.

Картина, доложу я! Он-то стоит с ружьём, как стрелял — застыл-оглохнул. Она — с клубком, кровью побрызгана во многих местах. Нету крови на полу, а множество струек-бороздок, и как-то нереально всё. Так и стоял он, пока не пришли энти-то и не забрали. Сам пошёл в телегу, сам сел и голову свесил.

Дали ему за убийство шесть годов. Переказали мне добрые люди: как охолонул он, велел сказать, что попомнит мне озорство моё. Только и переказали, а я все шесть годов, как вспомню об этом, трушусь листом осиновым.

Ну вот, прошли тыя годы. Батя женился второй раз и тут же помер. Мачеха сумела выдать старших замуж, а потом и сама вышла. Мы сначала было пошли во приймаки, да в свою хату вернулись. Никто нас не гнал, не гнобил, а и тепла не было, вот мы и вернулись. Так-то я и стал девкам и за батьку, и за матку. На восемнадцатом году на Анюшке женился... Вот и вышли у наших-то родители.

Дед по своему обыкновению упёрся руками в колени, напрягся, как для броска, и продолжил:

— Как срок подошёл энтоту-то с тюрьмы выходить, Аня с пузом уж была. Я, бывало, руку-то на пузо положу, а тама ворохается живое. Тихонечко ещё ворохается — срок мал ещё, а я думаю: «Придёт энтот, напужает и усё». И так-то мне от этого больно, аж больней, чем за свою шкурку.

Решил я не бегать и не ховаться, а стренуть его на пустом, как он порубщиков, и разом всё решить. Два дня в копыльях сидел, будто ховался, а сам всё его выглядял и выглядял. Пошагнул на дорогу: «Вот он я, Данил Михалыч, весь тут. Уж разом, да и край». А он мне и говорит: «Мать моя все годы желала, в каженном письме писала, чтоб я без её суда тебя не бил — не казил. А потому, раз ты такой выщел-

кнулся, пойдём до прѣжь к ней на суд, а потом я своё слово тебе скажу».

Пошли мы в Кульшину слободу, игде мать его жила, а сам он в зятях жил в Горицах. Хатѣнка у ней скошенная и уся мохом поросла, и сама она, кажись, мохом поросла, седым таким мохом, сгорбилась уся, а глядит молодо — дождалась сына.

— Вот, маманя, — сказал он, — привёл я энтого-то, какого ты велела. Суди его своим судом, а потом уж я рассужу.

Она и говорит:

— Кресты снимите, убивцы-то.

Сняли мы с ним кресты, а она их-то поменяла и надела сперва ему на шею, а потом мне. И в руки нам сунула по ленточке, своей рукою писаной.

— А теперь, — говорит, — судитесь, как знаете. Вы ныне перед Богом братья и мне сыны.

И вот стоим мы с ним, как колісь он с убитой Анфисой. Потом разом как-то повернулись и вон пошли. Ишли по дороге, молча, до росстани на Папсуево и на Горицы. Повернули всяк в свою сторону и боле николи не видались.

IX

Дед сунул руку за пазуху, порылся там и достал на гайтане вместе с крестом свиток ленточки.

— Эвона, гляди-тко. А впрочем, чего глядеть, — забирай себе. Мне оно без нужды. На память знаю, век с ним прожил. И от смерти спасало, и от запою горького.

Петя взял в ладонь узенькую колбаску, но не посмел развернуть тут же. Потом, в глухом лозёбнике, насквозь пронизанном солнцем, размотал и прочёл: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится»⁶.

Носил Иван кусочек ткани этот на своём теле столько лет, а чернила почти не выцвели. Не смылись горьким потом, пьяными слезами, водами бесчисленных переправ и болотных трясин, пронизывающими до подкормки осенними дождями, не расселись, оттаяв от полярного снега, не расплылись, отмытые спиртом от крови...

Петя испросил у Домнушки свой крестильный крест, в пожаре спасённый, сделал из несъеденного Зойкой целлулоида плотный пакетик и положил туда крест и ленточку, чтобы было, как у деда, и про это никто не знал.

Булавочкой прикреплял он свой пакетик на майку, не забывал его при переодевании. Когда становилось худо от горьких детских обид, вытаскивал и читал: «Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него».

Как и про слова, Петя никогда не спрашивал про Бога, потому что не хотел ненароком услышать плохого, насмешливого, грубого. Сам же всё судил судом Данилкиной матери, будто пользовался тем, который «избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своими осенит тя, и под криле Его надеешься».

Однажды напросился с Домнушкой в церковь и был не рад. На паперти сидели нищие: такие многочисленные странные люди. На Домнушку все обращали внимание — жалели, значит. Слова и действия священника с дьяконом были непонятны и оттого скучны. Но главное, что вынес Петя из церкви, — уверенность в том, что люди обращаются к Богу только тогда, когда им плохо, и забывают, когда хорошо.

Он даже перестал читать ленточку при обидах, чтоб не быть, как те нищие. Но потом всё-таки спросил про это деда Игната, а тот и сказал:

— Люди глупые. Хотят только одними просьбами с Господом жить, а оттого и есть они неимущие. Вот если ты станешь всякой удачей господа

помнить и благодарить, богаче станешь. Богатый-то и есть от Бога.

Читал я про одного миллионера (а фамилия его по-нашему будет — Акула). Дак вот, он на своей усадьбе понаставил телефонов-автоматов, чтобы гости его за деньги позвонить могли. Потому что позволить себе тратить на гостей лишку, как наша Домнушка на подкормку малых ребятишек, он не мог, а миллионщик был.

Прикинь теперь, кабы он враз разорился и обессилил, как Домнушка, чего ему от людей ждаться? Ну, страна благополучная, голодных и бездомных пускай нет. И поместили бы его в хороший дом для престарелых. Кормили-поили, выносили б с под него, а кто б его любил? Кто б его ценил такого-то, который привык со своих гостей двушки собирать? Кто б ему доверил жить, как он хочет: двушки собирать со всех, какие ни есть? Ведь ничего другого он не умеет! Вот и рассуди, кто богат, а кто нет.

— Про Домнушку говорят: глупая.

— Кто говорит?

— Миша Голышев.

— У Миши того надьсь голуби померли, а у Домнушки дети живые. Вот и рассуди: кто умный, а кто нет.

— Злой он, Голышев твой, — Вступила в разговор Лиза. — Всегда плюётся и дразнится.

— А ты и не слухала бы его, раз злой. А то всё плачешь, что б он ни сказал.

— У меня, скажешь, тоже ума нет?

— Немного нет. Да к тому же, как станет он дразнить тебя, его-то не слухай, а сразу помни, что любят тебя все. Да Господа благодари за тот уже разум, что дал тебе злых от добрых отличать.

Про Лизу Петя не знал, как там она, а сам стал делать при обидах, как Игнат велел: при удаче благодарить. И сразу оказалось — незачем хвастаться перед мальчишками своими новыми карандашами или велосипедом, а можно выждать удобного случая и похвалиться так, что у них аж глаза сужались от зависти.

Хвастовство скоро надоело, как игра в ведьму, а привычка благодарить осталась. Ленточка перестала надобиться, но Петя не бросал её, не вынул из пакетика, не положил куда-нибудь к документам или маминым украшениям. Казалось ему, что кусочек ткани, Анфисой благословлённый, как наследство, как сокровище неотъёмное.

Про то, что Данилину маму звали Анфиса, сказала ему Бабаня — нарочно сходила в Кульшину и узнала. Показала она и могилки обеих Анфис. А Петя свою первую дочь решил назвать Анфисой. Решил и выполнил.

⁶ Псалом 90.

X

Век двадцатый между тем всё катил и катил шипастое колесо своё по земле, не минуя места, где никогда не бывает зимы.

Помнился Пете день Витькиных проводов в армию. Вернее, не проводов, а убытия из деревни. Помнилась та самая рósстань, где последний раз видел дед Данилу: дорога на Кульшину, Горицы, Папсуевку и на станцию.

Помнилось, как проводили Папсуевские бабы призывников до той рósстани: и те, чьи уходили; и те, чьи уже вернулись; и те, чьи так и не вернуться никогда. Сошлись на дорожном точке ребята из деревень и матери. Сошлись и расстались тут: одни весело, с гармошкой и прибаутками пошагали на станцию, а другие остались стоять, как будто дальше заказан был им путь.

Стояли, стояли, да вдруг разом и упали все, как подкошенные, лицом прямо в дорожную пыль, вслед родимым своим. Никто не велел им, никто не режиссировал мизансцену, а только случилось так, что завыли, заголосили все разом: и те, кто проводил; и те, кто дождался; и те, кому уж никогда не дождаться своих солдат.

Лежали на белой дороге цветастые, яркие, праздничные, кричали по мёртвому за всех, не услышанных, не спрошенных. А потом разом снялись, как птицы по команде вожака, трижды перекрестились, поклонились на стороны и разошлись молча.

А Петя остался один. Сидел — ногами в придорожной канаве, глядел кругом, как сияет, красуется на свете погожий майский полдень, слушал звон ошалевшего от любви к жене и ребятишкам жаворонка, вдыхал запах взвившейся дорожной пыли...

И казалось, вся жизнь перекрёстнутой этой дороги ведома ему. Будто время стало прозрачнее полдня, и проступило всё, что она видела с тех пор, как первые путники протоптали её, чтоб поселиться в удобных местах над речками и речушками.

Встали сразу лёта и зимы. Выявилось, как тянутся по ней крестьянские обозы и колодники. Летят свадьбы и ползут похороны. Весёлыми ватажками скачут ягодные ребятишки. Трудятся с но́шками пешие коробейники, богомольцы и беженцы. Выступает череда ратников своих, и слышится железная поступь недругов, желавших, как видно, навек остаться хозяевами здесь, да не ведающих того, что земля-то их не примет, и дорога станет для них дорогой к гибели.

То ли мнилось, то ли виделось, что среди них был один главный недруг: не человек, а исполин многорукий и многоголосый, чудище резиновое, сверкающее и лязгающее. Петя не смог бы отдать отчёт:

⁷ Песня Кати Лель.

то ли тогда уж сложилось, то ли наслоилось после воспоминание-предсказание. Знакомое всё, понятное, объёмное и звучное:

Муси-пуси, муси-пуси, миленький мой,
Я горю, я вся во вкусе⁷.
Ой-ой-ой-ой!
Икуплюсё-о-о-о...

Звучала эта или другие бывшие-будущие навязчивости и нагрузки, то, что потом поименовалось «век». Главный враг-испытатель земли, пришедший проверить и остаться здесь хозяином. Остаться даже не техническими достижениями, не заменой дороги с грязевой на асфальтовую, не отсутствием в поле суслóном поставленных снопов или полной компьютеризацией деревенского населения, а самим существованием этого самого населения: раскрестьяниванием, оскудением, обезличением, обидливанием.

Сидя тогда на краеугольном месте, Петя пристальнее всего вглядывался именно в этого врага и даже не умом, а жизнью усвоил и постиг, что он — враг. Просто враг, как все прочие, хоть видом не видан и страхом не стращён. И ему, необычайному и не замечаемому врагу, как и другим, заявившимся врагами, судьба на этой земле одна — погибель.

А победитель будет он, Петя, и дед, и Данила, и Трофим, и Бабаня... Виделась ему и победа, и цена этой победы. Безусловной же победительницей была Домнушка.

На похоронах обычно у гроба ставили тарелочку, куда каждый пришедший клал один рубль. Можно было, если кто хотел помочь, давать деньги отдельно. А на тарелочку клали рубли затем, чтобы легче считать, сколько людей пойдёт на кладбище: не идёшь на кладбище — не клади.

У Домниной тарелочки стал Серёжа, который родился через несколько лет после пожара, был Домнушкиным крестником, спал с ней в одной комнате до последней минуты. Перед смертью она разбудила Серёжу, велела позвать Таню и самому лечь где-нибудь.

— Мне надо с ней слово сказать, так ты ляг уже на её место, а утром придёшь.

Проснувшаяся Таня не застала Домнушку живой, а Серёжа, узнав о её смерти, сказал, что сделает всё, как она велела. Поэтому он и стал у тарелочки, чтоб посчитать всех, кто поедет, особенно стариков: заказать автобус.

Автобусов понадобилось десять. На кладбище люди спрашивали: — Кого это так хоронят? Наверно, она была какая-то активистка?

Пете помнилось несколько больших похорон: например, когда разбились на мотоцикле жених и невеста; когда хоронили лётчиков, про которых потом сложили песню «Огромное небо»; или когда повесился двенадцатилетний Коля...

Там всё были случаи необычайные, горькие, трагические. А тут умерла глубоко больная старуха, почти девяносто лет от роду, не состоявшая ни в какой организации, даже в церковь не ходившая

последние годы!

Гроб несли на руках мальчики от шестнадцати до девятнадцати лет — сыночки. На больших поминках всегда с округи тянутся ханыги, выпросить дармовщинку. А здесь сыночки стали на дальних подступах и не пустили эдаких: «Нечего осквернять. Там дети поминают».

Сыночки-сыночки! Битые, пропитые, обомжившиеся, одичавшие, Бога забывшие — все они имели в жизни одно, бабу Домну. Помнили, как стояла на углу, приветствовала. Знала всех по имени: кто чей, чем занимается, у кого какое сродствие.

Бывало, останавливала случайного прохожего:

— Сыночек, ты обратно этой дорогой пойдёшь?

— Этой, бабушка. А что?

— Вот тебе деньги. Принеси мне, Бога ради, два снежка и две городских. А то мои — то дерутся, стулу делют, в ларёк некому сходить.

Не было случая, чтобы человек пошёл другой дорогой и зажал полтинник. Любой сыночек или доченька могли зайти к бабе Домне поесть, любого принимала на ночь. Но не шли к ней пьяные и грязные, не устраивали в её хатке притона. Там все были сыночки — дети.

Однажды ярким зимним утром вышагнул с мороза в Домнушкину кухню моряк.

— Не признаю, чей ты, сыночек?

— Троицына Вильгельма помнишь?

— А то не помню! Усе годы молюсь за него, за дурака.

— Я-то, бабушка, и есть дурак.

— И как же ты теперь такой-то стал, сыночек?

— Угнали на север. Отсидел и остался там работать в Мурманске.

Сначала в порту грузчиком, потом на судно записался мотористом, а сейчас видишь кто?

— Не понимаю я в значках ваших ничего, а что ты — человек, и без значков понимаю. Женатый, небось?

— Нету.

— Чего же? Девоч у вас на Мурманске этом нет али как?

— Девушки-то есть, а такой, чтоб в дом взять, не нахожу. Всё кажется мне, будто каждая норовит мной попользоваться, будто за деньгами моими глядят, а я как придаток к деньгам-то. Я бы на тебе женился, кабы лет пятьдесят скинуть.

— Господи, Боже мой! Такого-то добра, как я, в Расее мало, что ли? Или гляделки тебе повылазили: ничего, окромя денег и дурак денежных не видишь?

— Видно, повылазило. Хочу только такую, как ты, но боюсь ошибиться.

⁸ 6 апреля 1966 года на окраине Берлина Борис Капустин и Юрий Янов совершили подвиг, послуживший основой для песни «Огромное небо». С тех пор лётчики, их последователи, повсеместно соотносятся с ней.

— Хорошо. Укажу тебе. Только знай, обида ей моей обидой будет. Стакой-то женой надо самому таким-то быть. А то зачахнет она, задавится, как цвет полевой, что в кружку срезали. Вона, гляди: на Весенней улице зелёный домик, видал? Ещё на Борисовой такой, как самолёт, с масандрой. А не то — езжай в Папсуевку. У моего свата в соседях любую бери, не обманешься. По Расее такого-то добра много.

Так и получил детдомовец Вилька Троицын положенных Богом каждому человеку двух женщин: свою мать и мать своих детей. И прожил век двадцатый успешным предпринимателем и многодетным дедом.

Пьяненький Голышев, горько плакавший на Домнушкиной могилке, назвал её глупой, и Пете было дано безусловно в этом убедиться. Она не могла последние годы в церковь ходить, а потому просила Петю записывать на бумажку свои грехи и относить священнику. Только с тем, чтоб не знали про это. Ну, Петя и записывал, и относил. Придёт, улучит минутку, сунет в книгу листок и убегает. Однажды священник на этом деле сграбастал его за шиворот, как жулика, близко притянул и спросил:

— Зовут её как?

— Домна.

— А ты бумажки читаешь?

— Читаю.

— Ну и читай дальше.

Может, он спросил бы что-нибудь ещё, но Петя вывернулся и убежал. Больше в церковь ходить не стал, а Домнушка, будто поняла всё, и не просила. Неизвестно, просила она об этом кого-нибудь ещё или решила, что во всех своих грехах уж исповедалась, а только Петю больше не кликала про это.

XI

*Может быть, в иные годы,
Очищая русла рек,
Всё, что скрыли эти воды,
Вновь увидит человек.*

Александр Твардовский

Не дано человеку очистить русла дорог и бездорожья: и своего, и присных, и дальних. Может, и правильно, что не дано. Авгий один был, да и тот мифический.

Помнилось последнее Папсуевское: уже зима, вернее — поздний зазимок. На Зинулину свадьбу приехали на «козликке». В городской квартиренавертелидваведра фарша, привезлихолодецвэмалированных лоточках, ящичками белую и красную водку, газировку для избалованных, головы сырные, связки варёных и копчёных колбас, в ОРСе по такому случаю Игнатом выписанных, — ахнули стол на триста.

Тут-то увидел Петя впервой пьяного Ивана. Выходила Зина за балашовского парня. А как известно: «Балашовцы энти на порядок хуже хохлов, вреднее, и папсуевские их завсегда били».

Когда сватались, пропивали и сговаривали, не случилось Ивану высказать в полный голос мнения о балашовских: девку отдавай, как берут, а то не взрадуешься. Зато когда молодых одарили, поиграли в «Тарелочку» и «Гуся», когда клуб, где проходило торжество, наполнился звоном третьей перемены, встал Иван, как обычно, удлинняясь и утолщаясь, начал по родителям костерить новую родню. Пообещался прилебачить и существующую сваху, и давно уж покойного свата... Оказались на высоте Трофим с Федотом, да Михайло с Лексеем. Подняли они под белы руки драгоценнейшего хозяина и совершили (по его собственному выражению) «вынос тела» А душа-то уж давно осовела от выпитого и забила в непамятный угол своего вместилища.

— Кой-то раз просила его не поганить праздника, кой-то раз обещался мне, — горько жаловалась Бабаня свахе. — Он у нас только пьяный нехорош, а так — ничего себе.

Петя спустя время вышел с клубного подворья на своё и услышал, будто из-под земли, тягучий призывный покрик деда:

— И-де-я! И-де-я!

Бабаня вслед простонала:

— Господи Боже мой, надо же, и Саул попал во пророки...⁹ Поди, унучёк, гляни, какая тама идея у него?

⁹ Первая книга Царств.

Петя пошёл на голос и обнаружил его, голос этот, торчащим из погреба.

— Дед, какая идея?

— Да не идея, а я иде.

— Ты — в погребе.

— Ну, так вызволи меня!

— Как я тебя вызволю? Сам вылезай.

— Они меня лестницы лишили, заперли тут, как лягушку в сметане.

Петя, держась за брёвна сруба, спустился в погреб, ощупью нашёл деда.

— Чего тебе здесь не нравится?

— Холодно.

— Гляди-ка. Тут одеяла шерстяные, матрац и подушки. Ложись и спи.

— А энтот балашовец будет водку пить?

— Не бойся, твою не выпьет.

— А вот чего, Петюшка, добудь-ка ты мне энтото балашовца, а я и с ним тут потолкую.

— Зачем он тебе?

— На вшивость его проверю.

— С чего ты непременно взял, что он плохой?

— Балашово усё на болоте стоит, и народ тама гнилой, это известно и объяснение не требует. Она немцы: поделили их на западных и восточных, и думают, что одни хороши, а другие нету. А его, немца-то, копни-ка! Не может он, скажем, просто, как человек, яишни спросить себе, а хоть западный, хоть восточный: «яйки-яйки...» Эвона как... Или англичаны. Тут я у Наташи книжку ихнюю видал, и там простые вещи нарисованы: картохи, гурки, помидоры... А написано про них, что они: пататосы, томатосы, а ещё, прости Господи, кукумберы. Добудь мне балашовца, голубчик, а?

— Не стану добывать. У него ночь первая какая-то.

— Аррр! И ты за ихних, зверёнок!!!

Петя кошкой взлетел по колодцу погреба, чудом избежав цепкой дедовой пятерни. Но после всё-таки добыл ему балашовца, и тот до свету унимал его, уговаривал сначала в погребе, потом на полке и усамил-уговорил до сна.

На второй день в холодной у Ярцевых кумились балашовские с папсуевскими. Петя, ещё не парень, но уже не детёнок, был зван посвященцем. Пил противную, степлившуюся водку. Правильно, как учили. Чувствовал, по телу расплзается приторное до иголок тепло, лицо загорается, и поднимается душа на три сантиметра над полом. Вот такой-то он взрослый становился от этого — на три сантиметра. А приятно!

Запомнилась склизкая пакостная песня про Катюху-любовницу, петая парнями под гитару, и в ней последние в жизни из непонятных слова:

Муж её вернулся очень рано
И извлёк меня из-под дивана.
Он тогда берёт кулак,
И по морде мне вот так:
Чап-чап-чап-чап-чап!

Смешно было в области подложечки, дураком казался, кто
сложил песню, сам же представлялся умным и высокомерным.

И теперя, братцы, вам скажу:
Я на ту Катюху не гляжу,
Потому, она, сволота,
Меня угробила до пота!
Чап-чап-чап-чап-чап!

Петя попробовал взять кулак другой рукой или большим пальцем той же руки, прикинул, как этим взятым кулаком можно угробить до пота оставшегося в живых «меня». И как бы «я», мёртвый, вспотел... Потом закачался, растирая зашершавевшие, обезвоженные ладони, насилуя себя, долго смеялся до пота так, что ребята сказали: «Этому больше не наливать, а то дед его отработает — не обрадуешься, что упоили».

XII

На утро Монахов Толик предложил:

- Похмелись-ка, небось, во рту эскадрон переночевал?
- Нет эскадрона, только голова болит, как будто трещина по лбу. Толик услужливо принёс три стакана.
- Зачем столько?
- Надо.

После первого стакана чудовищной силы рвотный позыв бросил Петю к помойному тазу так, что с трудом удержался и на ногах-то, чтоб не рухнуть в таз. Потом обессиливающая испарина выступила по всему телу, задрожали колени, зазвенело в ушах. А Толик уже стоял наготове со вторым стаканом:

- Ну, давай!
- Зачем?

— Положено так. Впервой, как похмеляешься, всегда рвёт. А надо не останавливаться и пить, пока рвота ни уйдёт. Тогда научишься похмеляться с первого стакана.

- Не буду.
- Почему?
- Потому что похмелье — продолжение пьянки, а я не хочу больше.
- Ну и слабак ты.
- А ты силак.
- А ты дурак. Все мужики похмеляться умеют, а ты городской грамотный придурок.

— А ты акал папсуевская! Не буду пить и блевать. Кто в доме хозяин? Я или алкашинские привычки! И шёл бы ты со своей наукой...

Петя впервые в жизни, не заботясь, слышат ли его, произнёс боцманский набор терминов, которые отличают (по выражению деда Ивана) русского человека от нерусского. Вероятно, Толик крепко обиделся на термины, потому что сразу, не рассуждая и не предупреждая, сунул свой увесистый кулак в лицо Пете, причём — никак его не брал. Кровь брызнула разом из двух ноздрей, в глазах сверкнуло, и некстати вспомнилось Домнушкино слово (недаром, что глупая): «Ударят тебя по правой щеке, а ты левую подставь, и стыдно тому-то будет, что в другой раз ударил. Да больше он и бить никого не захочет».

Сперва Петя решил проверить Домнушкины слова на Толике, который был его другом с детства, сделать так, чтоб неповадно тому было бить людей. Но когда Толик шагнул для второго удара, увидел воочию Петя: не монашенок перед ним, а тот самый резиновый, что обучил монашонка своей науке. Руку его держит, из глаз его смотрит, горлом его злобится... И сунул Петя, как дед учил, снизу под челюсть так, что тот рухнул лицом в скамью — в бессознанку.

Шёл победитель на колодезь мыться, а под ногами хрустела крупка

ледяная. Хрустела-выговаривала: «Чап-чап-чап-чап-чап».

— И кто тебя так? — спросил очнувшегося Толика очнувшийся же Иван.

- Любимчик твой.
- За что?
- Не захотел похмеляться, придурок.
- Так-то и не захотел?
- Ну да.
- Вот это настоящий мужик. Я тоже не похмеляюсь. Пью, когда мне надо, а не когда она велит.

Пете, пришедшему со двора, как большому, протянул руку, а Толику велел умыться и соплю не пускать.

Петя был очень доволен и что соделал, и что заметили. Но в афганском плену пришлось ему без помпы и зрителей отказываться от наркотиков, насильственно вводимых, терпеть жестокую ломку, имитировать эйфорию, чтоб не добавляли, и одно твердить: «Кто в доме хозяин? Я или мыши!»

А когда плавилось от нагрузок сознание, когда и колодца-то не было, и крупки под ногами, чтоб чапала, всплывало незабвенное:

Падет от страны твоея тысяща,
И тма одесную тебе,
К тебе же не приблизится,
Обаче очима твоими смотриши,
И воздаяние грешников узриши.

Иван сливал на голову Толику из ведра звонкую воду с ледышками, а тот, сунув два пальца в рот, освобождался от вчерашнего угара.

— На что ты пьёшь аж ник до безумия? — спросил Толик Ивана, когда сели за горячее.

— А ты на что? Ваши, Монаховы, не пьют. Это у них вроде фирменного знака. А ты на что отбиваешься?

— Не знаю, на что. А только я тебя первый спросил: на что?

— Жизнь тихую веду. А как выпьется, само безумеет, чтоб уравновеситься, знать.

— А другого нету средства уравновеситься?

— Кажись, есть одно, да только в одиночку пользоваться им не сподручно.

— А ну, покажи средство-то!

Иван свалил голову на обе руки, тяжёлую похмельную свою голову, и, точно издалека, из глубокого, не здесь рытого колодца, вынул звук и слово:

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.

Толик подхватил высоковатым надтреснутым тенорком, а Петя не смог, потому что не знал, про что поют. Да и не легло сразу на встрёпанную душу средство. Но потом тоже пристал, как отбившийся

от стада гусёнок.

И потекла-повязалась невесть когда сложенная, переходящая из века в век от беды к беде (так Пете думалось) история:

На нас напало злое время,
Село родное полегло.
Отца убили в первой схватке,
А мать живьём в костре сожгли.

Один и тот же мотив, на терцию поднимающийся. Одни и те же слова с подробностями: и как сажались в лодочку; и как плыла лодочка; и как упала сестра-красавица из лодочки и тихо скрылась под волной.

Пойду, пойду я в партизаны —
За всё фашистам отомщу.

Иван в тот раз больше не пил, Петя с Толиком тоже. Толик не отбился от своих, Монаховых, так и не взял в рот спиртного. А Петя вынес из похмельной хаты неприятие угара вообще: ни химического, ни финансового, ни словесного.

Одно, что «современные идеологи» могли бы назвать угаром, закрепилось насмерть, не вытравляемо: «Я всё могу, чего хочу, мне всё доступно и всё дозволено, но не всё полезно».

Витя не вернулся в Папсуевку. «После армии уехал куда-ито в далину́ и тама на хохлушке женился. Наша-то девка ещё ничего, а мамаша её — лиса лисою. А хохлы энти в разы хуже балашовских, и наши завсегда их били».

Поэтому Иван и не был на Витиной свадьбе, а Петя был — держал фату.

Зина всё время всех строила, всегда сама ходила, как строенная, не замечая, что постройка эта стоит на пустяке.

Однажды, ещё до её замужества, Иван приехал в город продавать поросят и взял с собой Зинулю. Она, осознав себя уже не ребёнком, а довольно взрослой и весьма эффектной девушкой, на которую просто всё оглядывается, наотрез отказалась надеть телогрейку. До станции они ехали на лошади, в вагон мешки с поросятами подбросили, с вокзала до рынка надо было нести их в руках, а лучше на плече.

У Ивана было четыре поросёнка, у Зины два, и те оказались для неё тяжеловаты. В голубом, газовом, почти прозрачном платье, с двумя свинными мешками в руках она смогла пройти недолго. Пришлось перекинуть на плечи... Тут-то вся поросьячья сущность и вылилась из мешков на Зинулин наряд.

Заметила она это не сразу, а когда пришли на рынок. В поросьячьих рядах за всю историю их существования, пожалуй, не слыхивали такого визга, как Зинулин. Предусмотрительный Иван выдал ей на сменку правильную одежду и объяснил, что если она не прекратит звучать и не займётся тем, зачем приехала, — не получит деньги на новые туфли и на косметику. Грустно-грустно!

Зина долго и успешно, как ей казалось, строила балашовца,

выводила в начальство до тех пор, пока он, вырастив детей, не сбежал от неё на край света.

Миша намертво застрял в аспирантуре, а потом и дальше где-то там...

XIII

Петю не провожали в армию, как положено. Он поступил в военное училище, и провожали его уже к постоянному месту службы лейтенантом.

Иван, узнав о выборе внуком профессии, напорочил:

— Гляди, пострел, угодишь в интернационалисты, и будет тебе тода по полной программе и Бабрак, и Кармаль.

— Чем же тебе Бабрак не пришёлся? — встряла Бабаня. — Чем он хуже людей?

— А тем, что мордой чёрен, — огрызнулся Иван, — да ещё именó у него не сличное. И надо же такому-то: рожала мама, радовалась сыну, а назвала, как животную морскую. На что-йто у них так?

— Тебя Миша ксенофобцем за это называет. Усех-то ты нетакаешь, усех-то тебе ни как люди!

— А чего! Ксенофобец — хорошая ругательства, звучит!

Так и не понял тогда Петя, каким таким Бабраком пугнул его дед. А когда понял, подивился точности фонетическо-смысловой интонации да верности предсказания.

Провожали Петю без шума и помпы, собрались только родители и старики. Деды разглядывали карту, искали эту ошь или этот Ош. Когда же нашли, сказать было нечего.

На вокзал приехали чуть раньше. Поезд уже стоял, но в вагоны не пускали. Как нарочно с неба моросил мельчайший «порошок», ветер уснул вовсе. Вокзальные звуки и запахи, обычно резкие, притухли, даже огни получились окружёнными влажным нимбом.

Игната плохо держали схоженные за девяносто годов ноги. Иван, как младший товарищ, почти что нёс его в объятиях. Стоялось старикам трудно, и вообще чем-то было трудно.

Тут-то вспомнил Иван про средство от тихой жизни, да так вспомнил, что прочим оставил вспоминать его до конца дней. Он, как обычно в таких случаях, свалил голову на первую же подходящую подставку, которой в этот раз стал разлюбезный сваток Игнаша, и вздохнул:

Последний нонешний денёчек!!!

Гуляю с вами я, друзья.

Подхватил Игнат. И следом, точно вняв странному призыву, закричали, заплакали гудки. Или не заплакали, а плакали и до того, да только не слышались, не внимались, а тут сразу стали явственны и осмыслены.

На завтра рано, чуть святочек,

Заплачет вся моя семья.

Заплачет мать, заплачут сёстры,

Заплачут братья и отец.

Ещё заплачет дорогая,

С которой три года я жил.

Ни прекратить, ни убежать, ни крикнуть... Впрочем, крикнуть можно, и крикнулось в лад с ними:

Ты не сердися, дорогая,

Что не беру тебя с собой.

Позволь ты мне, моя родная,

Хотя бы час побыть с тобой.

И как итог, как результат, однозначный и бесспорный, — диалог, вернее — триолог двух людей или знаков и одного транспортного средства:

Коляска к дому подъезжает,

Колёсы об землю стучат.

С коляски энтот возглашает:

«Готовьте сына своего».

Отец ему-то отвечает:

«Крестьянцкой сын давно готов».

Готовность эту пару месяцев спустя сформулировал сержант Турилин, первый груз двести их взвода:

— Как развернётся чернота и наркота на Россию, а наши средние азиаты уж на подхвате!

Мысль о том, что идёт он за неразворот наркоты, держала и не ставила вопроса: зачем наркота эта обязательно развернётся? Должна была уж непременно развернуться, а иначе не наркота она вовсе. Доля у ней, у наркоты, такая — разворачиваться. Народ и местность такая, не похожая на привычное и читаное. А под руками техническая оснащённость сверхдержавы и уверенность в правоте несомой этой оснащённостью идеи.

Угар? Реальность? Ответа нет до сей поры. И до се стоит неразрешимой загадкой Киплингское: «Запад — есть Запад. Восток — есть Восток».

Нет ни восхищения Западом, ни ненависти к Востоку. Только напротивлюбовивсегочеловечестваковсемучеловечеству, демократской приманки, встаёт горький образ: рыгающие, кхакающие рты, злые глаза на выкате. Глаза-то злы даже в общении с себе подобными. Но главное — непонятная мотивация поступков и эмоциональных выплесков.

Когда беглецом, минуя прямые встречи, пробирался от селенья к селенью, со стороны наблюдал чужую жизнь, слышал звуки, видел жесты, вдыхал запахи и понимал: не сойтись. Даже случайно перехваченный человеческий взгляд не сближал, но отгораживал. Если, заметив его, обезумевшего от голода, женщина, будто бы случайно, оставляла на отшибе горшок с похлёбкой и лепёшки... Даже тогда понимание ограничивалось физиологическими потребностями, и не более того. В глазах женщин виделся ему ужас перед чем-то, чего объяснить не случилось.

Бабаня рассказывала про пленных немцев. Про то, как выносили им молоко, потому что жалко было глядеть. Вспоминал Бабаню: погорелую,

расстрелянную, заживо вместе с малыми детьми погребённую и выбравшуюся... Представлял, как ей жалко глядеть, и сравнивал с теми... Не похоже и не понятно.

Бросалась в глаза повсеместная глухая нищета. Только вооружённые люди выглядели благополучней. В глубине души догадывался — это не есть лицо страны, а скорее изнанка, но именно изнанка и работала на отторжение.

XIV

Всё материальное он потерял: и имя, и жетон, и пакетик с ленточкой, и право жить под солнышком. Последним, произнесённым на родном (да и на каком-либо человеческом) языке, был приказ младшему лейтенанту Якубову вынести двоих раненых. После этого на несколько лет остался один, приобрёл прозвище Мямням-урус за то, что сделался немым и беспмятным. Стал таким, когда понял: не уйти, не отвертеться.

Занятная штука память. На допросах в советских органах до мельчайших подробностей описывал места, события, людей... А лишь только необходимость достоверно вспоминать отпала, забыл. Вернее — велел себе забыть многое из пережитого.

Отчётливее всего помнился конец и начало: как приладил на колючки свою шинель, гимнастёрку, рубаху, чтобы выглядело, будто несколько их там. Имитировал движения с помощью прутиков и верёвочек, и мишени эти помогли продержаться некоторое время. А потом кончились боеприпасы, и пришлось отходить, вернее — драпать.

Сколько суток пролежал, взрывом в пропасть сброшенный? Как не убился, упав с такой высоты, и с какой высоты упал, и упал ли, — не знает.

В какой-то ясный промежуток виделось, что лежит он в расселине, а наверху над ним на фоне синей-синей извилистой небесной ленты, высвеченная солнцем, совершенно малиновая вершина или камень, или Бог его знает что. Дрожали на этом малиновом серебряные блики, дрожали, выговаривали светом, как на пяточке под гармошку:

Эх гора, гора, гора малинова.

А на той горе убили милого.

И звенело в ушах сдавленным визгливым голосом тётки Лидуни:

Убили милого и положили в гроб.

Я долго плакала у его холодных ног.

Я долго плакала и убивалася:

Зачем молоденька я улюблилася.

А дальше сливалось всё в вихре и звоне, в сплошном: горячем, шоковом, болевом... Так сливалось, что не мог достоверно вспомнить и подсчитать количество дней, мест, Абу Хафизов и Ибн Саидов. Не знал, как написать их: с дефисом или без. Не помнил число побегов и поимок.

Спасеньем оказалась лихая река с порогами и водопадами, вынесшая туда, где никаких Абу не было. Люди говорили на языке, напоминающем китайский. Однако и здесь не рискнул выйти к ним и попросить помощи. Проверять наличие Абу или вербовщиков иностранных разведок, шаривших в поисках таких-то бедолаг, не стал, а понадеялся на железное своё здоровье.

Питался тем, что поймает или выкопает. Случалось стащить съестное у людей... После удивлялся, откуда в нём такая изворотливость и ловкость

насчёт прятаться. Не поддавалось пониманию разума человеческого и количество проведённых в этом состоянии лет, и то, сколько раз выходил невредимым из неизбежно гибельных ситуаций. Много позже, памятуя о дани, Синим мостом за войну собранной, попытался зафиксировать одну неведомо где бывшую попытку удрать:

Небо пустое бездонно
В том непотребном году.
Я на площадке вагона.
Поезд на полном ходу.

Рвутся от поручней руки,
И отступает судьба
На девятнадцатом стуке
После шестого столба.

Больше уже не догонит,
Нынче минует тебя.
Кто-то берёт на ладони
И опускает, любя.

Хочется, сердцем пьянея,
К рельсам губами прильнуть:
Камень подушки нежнее,
Снег, точно матери грудь.

Во избежание муки,
На позабытой версте,
Все мы, сварожие внуки,
Знали мгновения те.

Без оборота и счёта,
Битых, усталых, больных,
Нас принимали болота,
Пазухи рек ледяных.

Необоримая сила
Ветра огня и воды
Перепускала, сносила
И берегла от беды.

Но в похвальбе или впусе,
Вспомнив про эти пути,
Дрогнешь, коли не допустит,
И не посмеешь сойти.

Сложилось это после, а тогда, всплывающими подсказками приходили отрывки, цитаты, сравнения... Смешным казался выдумавший себе родину и неволю Мцыри. Смешон был он уж тем, что монастырь считал тюрьмой, а разбойничью Абу Хафизью жизнь — волей.

Петя же мечтал, чтоб попался какой-нибудь монастырь, пусть даже мусульманский. По крайней мере там люди должны были бы интересоваться чем-нибудь, кроме денег и ненависти. Абу Ибны сравнивались с Монаховыми курами. И забавляло, что курей ненавидит, пожалуй, больше, нежели Ибнов.

Иной минутой, как глюк, приходил Иван: сквернослов, ксенофобец, акала папсуевская. Сверкал лезвием прищуря, раздражался... И от этого прояснялась голова, теплело на сердце. Когда же неотступно вставала мысль о том, до скольких разов и сколь это будет продолжаться, когда раскалённым сверлом пронзало тело «от киля до клотика», выручали девочки.

Особенно помогало воспоминание о любимом развлечении: прийти на танцы и сделать так, чтобы ну просто всё по тебе сошло с ума. Крутить со всеми сразу и ни с кем в отдельности было увлекательно и упоительно. Атмосфера поголовного флирта сгущалась, отовсюду исходящее, изысканное и эфемерное желание обволакивало, поднимало, уносило...

И тут появлялась Нина Саватейнова. Она была доступна и строга одновременно. С ней можно было совершенно отвязно целоваться до бессознательных состояний, не рискуя впасть в непотребство. Нина очень чётко знала, что ей нужно в этой жизни, брала от неё всё по максимуму и помогала взять ему.

Их официально считали женихом и невестой, по крайней мере Нинины родители. Но стоял вопрос об окончании учёбы и обосновании на каком-либо постоянном месте. До тех пор, пока не обосновались, гулять можно было на полную катушку, и он не терялся.

Теперь, в самые невероятные по отвязности флирта с «костлявой тётенькой» минуты, Петя прикидывал: можно ли с местными было бы покрутить малёк. Короче этого анекдота, смешнее и нелепее нельзя было придумать. В его положении для полного счастья только местной девочки не хватало! Представлял, как он, грязный, полудохлый, обнимает такую-то и шепчет на ушко: «Мням-мям-мям...»

XV

Случилось как-то сразу! На своём бревне (вернее — под), с поллой травинкой для дыхания во рту, глубокой ночью вплыл он в устье очередной большой реки. И тут заметил — это порт со стоящими на освещённом рейде кораблями. Сначала испугался, что очень даже просто вынесло бы его в открытое море, которого никогда не видал и не умел им пользоваться. Потом опять испугался, что найдут его тут, и попадёт в руки очередным заморочникам. Но когда понял — миновало и то и другое, начал прикидывать, как бы воспользоваться возможностью и выйти к «белым людям».

По якорным цепям пытался незаметно взобраться на борт какого-нибудь корабля, но это долго не удавалось. Взобраться-то было не сложно, сложнее оказалось остаться неприметно на корабле. Наконец, удалось заползти в ящик для якорной цепи. В ящике, кроме той цепи, по которой он поднялся, предполагалось поместить ещё две или три таких катушки, и одна уже лежала, поэтому Петя нашёл для себя сравнительно безопасное место и прижался там.

Когда зазвучала якорная лебёдка, по силе голоса сравнимая с тремя сотнями Жаек, пришлось открыть рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Тотчас вспомнилась песенка:

Ты слышишь печальный напев кабестана?
 Не слышишь, ну что ж, не беда.
 Уходят из гавани дети тумана.
 Вернутся не скоро. Когда?¹⁰

Ящичная щель вспыхнула, погасла и снова вспыхнула дневным. И тут он понял, что очень даже легко может помереть здесь, никем не обнаруженный. Тогда Петя начал стучать, царапаться, карабкаться, пока не вывалился на палубу. Тут-то и прикатил главный предел всему.

Очнулся на койке, увидел девочку в белом, светленькую, сероглазую... В первую минуту подумал, что попал к русским, но услышал речь и не смог определить, то ли финны они, то ли шведы...

Оказалось — это норвежское научно-исследовательское судно. Когда узнал, не удержался от смеха, вспомнив, что говорил Иван про норвежских: «Энти просто сильно на людей похожи. Очень даже их напоминают».

Ему же они очень сильно даже напомнили людей ни столь тем, что норвежские, сколь — «научно-исследовательские». Здесь впервые за последние годы заговорил: назвал имя, страну, город. Сказал, что дед его воевал в Норвегии и имеет награды за это. Сказал, что готов выполнять любую работу за то, чтобы его доставили в какое-нибудь советское посольство, и снова потерял сознание.

Научный норвежец шёл в высокие антарктические широты и не стал

менять курса из-за Пети. Возможно, причиной тому были финансовые соображения, а возможно, насельники корабля, наряду с другими исследованиями, решили изучить случайно попавший к ним редкостный экземпляр, коим был Петя. Его не беспокоили, не допрашивали, а просто наблюдали за ним. И потому вдоволь было у него времени, чтобы оглядеться, опомниться, осмыслить случившееся и принять решение.

В детстве Петя читал и смотрел по телевизору про моряков с баржи, мотавшейся в Тихом океане¹¹, и теперь сравнивал себя с ними. Сравнение оказывалось не в его пользу. Непонятно было, почему ему так трудно двигаться, глядеть, удерживать внимание на каком-нибудь предмете. Почему сознание всё время как бы ускользает, путая реальность и видения.

Он почти не говорил, ни о чём не просил людей, ухаживающих за ним. На вопросы отвечал жестом или взглядом, потому что звук собственного голоса рождал в душе необъяснимый и неопикуемый ужас.

Петя достаточно быстро сумел самостоятельно есть, обслуживать себя в пределах постельного режима, но встать долго не мог — не давал постоянно колеблющийся пол и мерный звук двигателей. Двигатели эти были, пожалуй, наибольшей досадой. И когда однажды замолкли, Петя вдруг понял разницу между собой и ребятами Поплавского.

Они в своём бедствии оставались, кем были. Статус их не изменился. Им не пришлось ощутить себя вне человеческого закона, а только противостоять стихиям, человеку не подвластным, оставаясь людьми. Это требовало принципиально других усилий, другого терпения и умения.

Однажды у себя на столике Петя обнаружил книги на английском языке, карандаши и чистые листы бумаги. Письменные принадлежности не вызвали интереса, так как руки не слушались, а марасть бумагу бесполезными каракулями не хотелось.

Книги заинтересовали. Здесь были самые разные издания: от эротических журналов до Священного Писания. Открыл Псалтирь, нашёл 90-й псалом и засмеялся, глянув на первую строчку. Вспомнил Ивана: как он в погребке сказал про немцев и англичан. Встретился взглядом со стоящим тут человеком по имени Рудольф, понял — тот видел текст и догадался, что сравнивает знакомое.

По-английски Петя мог читать со словарём, которого не было, а потому не стал «грузить» себя текстами и занялся картинками. Среди книг были две детских. Именно их он отобрал для повседневного пользования. Остальные отодвинул к дальнему краю стола.

С этими книжками, а главное — с этими картинками легко было жить. Они возвращали или вводили в мир нормальных людей, которые ели, пили, играли, читали, общались с животными. Для Пети не так важно оказалось содержание книг, которое достаточно быстро ему открылось.

¹⁰ Песня из радиоспектакля «Пятнадцатилетний капитан». Слова В. Крапивина.

¹¹ Дрейф баржи Т-36 с четырьмя моряками. 1960 г.

Важнее было всмотреться и домыслить себя среди этих ребятишек, таким же, как они. С ними всё становилось понятно, интересно, реально. Уходил угар с Абу и страхом, грязь, голод, боль.

Как-то само пришло и понялось: место его среди них, дело его с ними, единственно достойными, чтобы приложить к ним силы любовь и умение.

Однажды, когда пол перестал гудеть в очередной раз и никого в комнате не было, Петя встал и по стеночке выбрался к двери. За ней оказалась более просторная комната с диванами, креслами и пианино. Добравшись до инструмента, Петя попробовал открыть крышку. Это получилось. Коснулся руками клавиш.

Сначала звук из-под пальцев испугал так же, как голос, но потом привыкло. Заглянула девочка Дагмар. Заглянула ещё раз, вошла, села и стала тихонько наблюдать. А Петя, осваиваясь, пробовал играть сначала гаммы. Потом вспомнил инвенцию Баха, которую задали ему для выпускного экзамена в музыкальной школе. Спотыкаясь и путаясь в собственных руках, наконец, понял, что совсем обессилил. Тут-то и заметил Дагмар. Смутился, хотел развести руками, мол, «что же теперь делать» и чуть не упал с вращающегося стула, привинченного к полу.

На другой день пианино подвинули непосредственно к двери так, что удобно было садиться и вставать, опираясь о стену, и у Пети появилось новое занятие, способствующее улучшению его самочувствия. Он играл, что умел, потом стал играть по нотам, бывшим тут.

Раз Дагмар принесла тетрадку с нотами и словами неаполитанских песен, и когда Петя заиграл одну из них, начала подпевать. Ей самой было смешно, как получается на итальянском языке. Пришли Арни и Рудольф, разложили на голоса, и дело пошло.

Петя долго не мог присоединиться к ним. Он много чего долго не мог, или казалось, что долго не может... После сверил по календарикю своё пребывание на судне с ощущением пребывания, и временные длительности не совпали. Вообще, со временем у него происходило то, что в детстве со словами. Когда же, наконец, начал петь сначала в унисон с кем-либо, а потом особо — почувствовал уверенность. Легче стало ходить и вообще управлять движением: говорить, рисовать.

Рисовал почему-то животных и детей. Про них рисунки с продолжением, суть — комиксы. Сюжеты — самые простые: как мальчик идёт в школу, а навстречу ему собака тащит в зубах мяч. Мальчик берёт мяч и бросает собаке. Она бежит за мячом, промахивается. Мяч скатывается в воду. Собака и мальчик прыгают за ним. А в это время котёнок забирается в портфель...

Было занято изображать подробности движения, выражение чувств позой, взглядом, взаимосвязью картинок. Одновременно с увеличением количества и сложностью мелких движений пальцев в тело возвращалась сила. Это была не физическая сила, которая не покидала его, а сила здоровья, нормальности.

Когда впервые вышел на воздух, понял — может работать. Делал всё, что просили и не просили из простой работы: вроде уборки мусора и закрывания дверей, чтобы не выхолаживались помещения. А потом как-то случилось, что стал выполнять работу чертёжника. Чертил и карты, и схемы, и графики... Чертил набело для отчётов или архивов. Считал, что этой работой оправдывает проживание и уход, и удивился, когда потом ему заплатили деньги.

На судне Петя ни с кем не сошёлся близко. Между ним и другими обитателями существовала некая дистанция. После, вспоминая свои ощущения, понял, что дистанция эта, как и временные аномалии, была миражом. Она сама по себе — дистанция, а разница опыта, количественное отличие одного и того же явления, как грамм и килограмм. Оказалось, что он органично влился в коллектив судна, тщательно укомплектованный по принципу психологической совместимости, и при расставании вышло, будто отделяет по живому.

В последний вечер как-то сам собой зашёл разговор о политическом убежище и возможности навсегда остаться в Европе.

— У тебя достаточно профессионализма во многих областях. Ты смог бы зарабатывать приличные деньги и неплохо устроиться, — говорили ему. — Наверняка на родине возникнет множество вопросов относительно твоего пребывания и деятельности вне страны. Это может иметь не самые приятные последствия.

Петя заметил, что обитатели судна не слишком жаловали разные органы безопасности, как свои, так и иностранные. Вернее — делали всё, чтобы свести контакт с ними к минимуму. А потому не объявили громогласно на весь мир, что выбрали Петю и привезли его в советское посольство у себя на родине, проведя незаметно мимо множества таможенных досмотров. Прощаясь, обменялись адресами и телефонами на предмет возможной приработка, если в Европе окажется, или просто взгрустнётся кому...

— Чем ты станешь заниматься, когда вернёшься?

— Хочу быть школьным учителем.

— Работа хорошо оплачивается?

— Заработать деньги можно и на стороне, например, имея пасеку.

А эта работа для интереса. Я устал заниматься тем, что не нравится.

— Почему именно эта и почему именно там? Дети есть везде?

— Очень интересно наблюдать, как из шалопаев и бездельников проклёвывается и вырастает то, что в огне не горит и в воде не тонет. А ещё интереснее самому приложить руки к выращиванию. Почему именно там? Очевидно, здесь важно знание среды, окружения или... Не знаю, как назвать.

Его поняли, хотя дословно не смогли бы перевести поговорку: «Где родился, там и сгодился». И Петя понял: он не является уже для них загадкой, экзотическим существом, в море выловленным. Каждый из них ощущал бы на его месте то же самое и стоял на своём месте, потому

что это было только его место.

Вдруг как-то обнаружилось, что и «место, где никогда не бывает зимы», — не зависит ни от места, ни от зимы, ни от того, чего не бывает никогда. Это нечто такое, что долженствует быть везде, где способен жить человек. А человек, как на личном опыте убедился Петя, может жить везде.

Это даже и не место вовсе, а состояние, путь, образ жизни. И задумался над ним один только Петя. Те, другие, не задумывались, а просто имели его всегда, как данность, как слово с ленточки, как образ и подобие внутри себя. Чей? Он не мог ещё ответить чей. Но знал, что у него и у них, и у Ивана, и у Игната, и у Анфисы — у всех, имеющих «место, где никогда не бывает зимы», и у не имеющих, а на уровне инстинкта догадывающихся о его существовании, образ этот один и тот же.

Пете стало даже казаться, что у Абу Ибнов существует рудимент этого самого, хотя и негде ему у них помещаться. Сумбур выравнивался, систематизировался, выстраивался во что-то основополагающее, способное держать, вроде поплавок. И становилось яснее то, что «в огне не горит и в воде не тонет» и почему оно таково.

XVI

КЛИНИКА СЛОВ

К психиатру меня не повели, хотя и должны бы! Всеми слова причиной!.. Зачем они таковы, что из них любую беду себе составить можно? Я с детства в словах этих путался. Если честно, не жалею о том. Увлекательное занятие, хотя и небезопасное.

Взрослые слова говорят, иные даже пишут и деньги за эту писью получают, гонораром те деньги называются... Они пишут, читают, а ты расхлёбывай!

Я всё время расхлёбываю. Например, из песен разных! Тут глиняную пластинку нашёл, «Метро» называется. А там на двух сторонах целый оркестр играет и хор, человек на двести, прямо так поёт:

Там солнце улыбалось
Бетону, кирпичу,
И Лазарь Каганович
Нас хлопал по плечу¹².

Космическая страшилка! Солнце кирпичу улыбается, во! Я посмеялся про это на перемене, а Митя Зайцев обиделся, будто бы сам он тот Лазарь, и на классное собрание вытащил меня, как позорщика советской песни. Митя этот у нас всех на чистую воду вытаскивает, честно вытаскивает, прямо в глаза или в уши.

Другая песня:

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой...¹³

Не знаю, как у них под Москвой, а у нас в белоснежных полях, если куст стоит, он доверху снегом заваян, как естественное препятствие. Одинокий куст становится холмиком, группа кустов — подобием хребта, шептать нечем... Разве что одинокое дерево может шептать, а кусты нет. Кира Васильева на это сказала, что у меня утилитарное мышление и поэтом мне никогда не бывать.

Не хочу поэтом быть. Лучше шофёром или изобретателем... Правда, Бертольд Шварц стрелялку изобрёл, а потом сам не обрадовался. С водителями тоже происшествия бывают... Если так, можно и в поэты, пусть их все критикуют, переживём.

Вообще, пережить, оказывается, можно, что угодно, только не дрейфить, и переживёшь. Дрейфить я не люблю. Само как-то дрейфится. Но как вспомню, что не люблю, сразу дрейф прекращается, начинается направленное движение, вот!

У нас учителя русского и литературы менялись, как перчатки. Почему

¹² «Метро». Слова Н. Берендгофа.

¹³ «В землянке». Слова А. Суркова.

они — перчатки — меняются в поговорке, не знаю. У меня рукавички на резинке, хоть уже большой, и дразниться начинают за это. А моя мама одни и те же перчатки носит восьмой, почитай, год, кожаные потому что. Ну, меняются они и меняются.

Очередная училка по «лит-ре», Вера Максимовна, была до того спокойная, что прямо сейчас уснёт. Мы у неё на уроках сидели очень тихо.

Если тихо сидеть, можно делать, чего хочешь: хоть в морской бой играй, хоть в картишки. Всё сходит. Если же в классе появляется движение, она сразу активизируется и воспитывать начинает. Воспиталово это никому не нравится, даже Мите Чистоводному, и с дисциплиной на Верочкиных уроках всегда полный хоккей.

Накануне психиатрова дня у меня с отцом разговор был про Верочку и «лит-ру». Я рассказал ему, какие у нас с этим делом положения, а он и говорит:

— Если ты будешь на «лит-ре» в картишки резаться, а потом в поэты пойти захочешь, получится у тебя по этому предмету пробел. Завалишь экзамен, и не возьмут. Ты всё-таки играть играй, но слушай, про чего она там говорит.

Хороший у меня папка, милый ужасно... Он работает машинистом, водит локомотивы всех видов. У нас на парке даже паровозик есть, маленький такой. Его под бойлерную переделать хотят, но пока двигается он, и я на нём катаюсь — уголёк подбрасываю и реверсá трогаю.

Какое счастье рядом с отцом на паровозной площадке стоять и, прямо как в рассказе из «Родной речи», с насыпи глядеть на наш посёлок. Далеко видать, и есть возможность изучить подробности: у кого какой двор, даже ребят видно.

Гляжу я на иных ребят, а у них отцы какие! Рассказывать совестно! Я за то, что у меня такой отец, любую дразнилку перетерпеть могу. Дразнятся они, а у меня вроде подпорки в душе он: глаза его, руки! Смешно тогда дразнение, пусто, и жалко того, кто дразнит.

Я отца всегда слушаюсь. На тот раз надо бы не слушаться, но уж привык и попался. Теперь, по зрелом размышлении, понимаю: не надо бы всё на отца валить. Мне следовало самому не лопушиться, а во-первых, подглядеть в учебник и, во-вторых, опять же подглядеть.

Мы же с Кущиным в точки играли. Учебник «лит-ры» был у нас бастионом от Верочки. Чтобы бастион не мешал сражению, не мотал листами, книжка раскладывалась на середине, а наш урок на восемнадцатой странице напечатан.

Я обставил Витькá пару раз, он обиделся и начал один играть. Занятно глядеть, когда человек играет сам с собой разными руками — двурушничает, значит. Сперва за одну руку играет, будто бы другая — противник. Потом вспоминает, что другая рука — тоже он, начинает за неё играть, но ненадолго. Честно никогда не получается. А они, руки, даже обидеться не могут.

Я стал прикидывать, почему рука — противник. Может, всё-таки

противница? Нет, скорей — соперница. Одна рука — Кушин, а другая — соперница. Потом становится снова Кушин!!! Получается, как у Гоголя: «Невесте скажи, что она — подлец!»

Так-то я ковырялся в неувязках. А Верочка тем временем читала стихи о Кузнецкстрое и людях Кузнецка.

У него, у Маяковского, стихи лестницами. Бумаги, видишь, ему не жаль. Правду говорят, бумага всё вытерпит. Ну, я — не он, лестницами писать не буду, потому что по рублю за строчку всё равно не заплатят.

Маяковского этого я даже побаивался. Когда-то дома книжка была с детскими стихами, Пугало! Рядом не становь!

У нас хороший папа,
Стальной рабочий класс!

До жути доставал меня тот папа! Мама у этих нас тоже такая, мало не бывает. Дальше пуще:

Крошка-сын к отцу пришёл,
И спросила кроха...

Какого пола ребёнок? Ну про пол это вопрос, а про года:

У меня растут года,
Будет мне семнадцать...

У меня растут зубы, волосы, ногти... Года — это где? Долго щупал свою голову, спину, живот. Потом прикинул, что больше всего годов этих выросло у нашего деда, и стал его в бане разглядывать, аж смутил. Тело у него, понятно, отличается от моего. Но никаких новых выростов, которые можно было бы назвать годами, не оказалось.

Дед сказал, что Маяковский так экспериментировал со словом, чтобы было занятней и современной. В Ленинградском музее есть картины, где и форма предметов, и пропорции, и цвета не такие, как обычно, а весь мир точно преломлён. Глядишь, как сквозь сложную цветную стекляшку. Но если мастер писал, очень даже греет душу.

После мы с ним ездили в этот музей, и я убедился, что греет. Со словами же ничего не выходило. От них не грело, а поджаривало:

Едем рельсами.
Кончилась рельса,
Слезли у леса мы,
Садись и грейся.

Пока ехали на двух рельсах, не мёрзли, а на одной околели одновременно. На одной рельсе, когда едешь, сидеть нельзя, а то не сбалансируешь и упадёшь.

Про себя Маяковский сказал: «Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то “доряне”». Раз какие-то, значит — беспамятные. Кривляются те доряне и всё вокруг кривляют. И по тексту такого добра не перечеть.

Я приеду к Пете,
Я приеду к Поле.
«Здравствуйте дети,

Кто у вас болен?»
Погляжу из очков
Кончики язычков...

У кого больше язычков: у Пети или у Поли? Он же к ним в разное время приехал. И сколько кончиков на каждом язычке? Здесь, в Кузнецке, как и в полях под Москвой:

По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат...

Если тучи бегают, сжатого сумрака быть не может. При таком сумраке облачность сплошная — туча одна. Другим бегать места нет. Не завидовал я тем рабочим, что у них «и дождик толст, как жгут». Вся вода из дождика собралась в единую струю и настигала эта струя прям каждого. А дальше хлеще:

Свела промозглость корчею.
Неважен, мокр уют.
Сидят впотьмах рабочие,
Под мышкой хлеб жуют.
Но шёпот громче голода,
Он кроет капель спад.
Через четыре года
Здесь будет город-сад.

Если хлеб от сырости лежит за пазухой, под мышкой, конечно, жевать удобно, а глотать как? Если дождик жгутом, откуда капли? Голод и шёпот звучат из одной дырки, изо рта? Нет. Голод — из пуза, урчит.

Я хотел стать поэтом, а не критиком. И сразу простил Маяковскому все эти закидоны. Кируля называла их образностью, символизмом... Правда, Маяковский сражался против символизма: ранили, наверно, или трофеев нахватал. Одно не давало покоя, как можно жевать хлеб под мышкой.

Свернул промокашку, сунул под мышку, начал делать жевательные движения... Вдруг дошло: у этих рабочих не было никакого хлеба. Они только имитировали жевание, чтобы голод обмануть.

Я вынул бумагу и начал тренироваться — шевелить рукой так, чтобы подмышка издавала соответствующий звук. Сначала ничего не выходило, но, как говорит дед, «терпение и труд всё перетрут». И подмышка притёрлась, начала звучать очень похоже и очень громко.

Не заметил я, как Верочка встала со своего места, подошла к нашей парте и... В классе было тихо, а тут тишина настала абсолютная, как ноль. Только подмышка соловьём заливалась.

— Что с тобой, Гусев?

Верочка была блее серой промокашки. Кончики пальцев у неё дрожали, точно желая в меня вцепиться или убежать с рук.

— Я хлеб жую, Вера Максимовна.

Не сказав ни слова, Верочка схватила меня на руки и щемонулась изкласса. Пальцы у неё, недаром, что тряслись, были железные, руки

стальные, как у рабочего класса.

Два лестничных марша Верочка преодолела парой толчков. Катилась по ступеням вниз, как на салазках, не двигая ногами. Я сам так умею, но перил всё-таки придерживаюсь. После я узнал, что она горнолыжным спортом занималась, и лестница ей была как слону дробина.

Верочка бросила меня на кушетку в медпункте и заверещала:

— У мальчика конвульсии или тик! Я пять минут наблюдала, больше не выдержала. Психиатра надо!

Надежда Андреевна накапала ей в мензурку из пузырька, заставила выпить, пообещала, что покажет меня психиатру, и отпустила с миром.

— Ну, генерал, — сказала она мне. — Что это за фокусы? Рассказывай.

— Это жевательные движения. Я жую.

— Как жуёшь?

— Как те рабочие.

— Какие рабочие?

— Ну, «под старую телегою рабочие лежат».

— Можешь внятно объяснить?

Я объяснил.

Надежда Андреевна, перепользовавшая на своём веку такое количество симулянтов и прогульщиков, что видела их слёту, была озадачена. Ведь я никогда в этих делах не участвовал. Учится мне было интересно, а тут «вывих мозга», так она сказала.

— Мне кажется, Гусев, жевали они не под мышкой. Там другое слово стоит.

— Я внимательно слушал, именно это слово.

— Ты один слышал? Больше никто?

— Кто ж её слушает?

— Но ты же слушал?

— Мне отец велел, вот я и слушал.

Надежда Андреевна взяла меня за руку крепко-крепко и повлекла за собой. В библиотечной комнате она сняла с полки книжку Маяковского.

— Здесь написано: «Подмокший хлеб жуют», — сказала она.

XVII

Петя вернулся домой. Там он числился погибшим и награждённым Золотой Звездой Героя Советского Союза (посмертно) за проявленные мужество и героизм.

Пришлось доказывать, что живой, а точнее — родиться заново. И как писал Андерсен: «Было бы слишком грустно описывать все несчастья, свалившиеся на голову бедного утёнка, но, наконец, наступила весна».

Тонны анкет, протоколов и вопросных листов подались куда ни то, и у одного из терминалов Шереметьева вместе со встречающими сотрудниками стояли Татьяна Ивановна, Равиль Якубов и Виталик Хрименко — двое из шестерых, бывших с ним на перевале в прикрытие.

Помытарили немного в таможенной конуре, сложили в стопку очередную порцию листов. Потом свозили куда следует, снова сложили листики, теперь уж последние, дали бумажку для получения паспорта и, наконец, отпустили всех на все четыре стороны.

Поехали к Равилю, жившему в районе Лесной улицы. В машине молчали, а Татьяна Ивановна всё цеплялась руками за Петю: за плечи, за руки, за каждый палец отдельно... Не ощупывала, не узнавала, а именно цеплялась, точно боясь потерять некую связь яви с вымыслом. И глазами — сухими, бесслёзными, цеплялась за его взгляд. А он не отводил глаз, не прятался, не комплексовал по этому поводу, как подросток, чувствующий себя неловко с матерью в присутствии товарищей, но без чувств и мысли отдался окончанию.

Было пусто-пусто, гулко-гулко. Время растянулось, заполняя промежуток его отсутствия, и отмечались мелочные изменения. В руках прохожих авоську-сумку стабильно заменил полиэтиленовый пакет. На улице Горького резко возросло число иномарок и «бегущих строк». А в машине хрипел Вилли Токарев:

Небоскрёбы, небоскрёбы,

А я маленький такой.

То мне страшно, то мне грустно,

То теряю свой покой.

«Маленький отчего? Привык считать себя большим и вдруг обломилось? Или как? Да и попробовал бы он потерять чужой покой, честное слово!»

В недовыселенной коммуналке, в комнате с двумя переплётчатыми окнами у накрытого стола ждала Алия-красавица. Гибкая, лёгкая, с вороным отблеском уложенных венком кос. В настезь распахнутых глазах — изумление и откровенное любопытство.

Петя сидит на продавленном диване «времен очаковских и покоренья Крыма», кожаном в трещинках, с поющими пружинами и круглыми валиками. Разглядывает обои в цветочек, высохшие с прошлой осени икебаны, плетённые из грубой пеньки висячие корзинки с цветочными

горшками, чеканки с небом в клеточку, гжельские фарфоровые фигурки. В руках вертит кусок чёрного хлеба.

Вот первая реальная радость, настоящее, осязаемое, обоняемое и вкушаемое. То, чего нигде в мире больше нет и ради чего уже стоит возвращаться на эту землю. Он никогда раньше не замечал, что существует хлеб. Это было: как данность, вроде воздуха и взгляда матери, как само собой разумеющееся явление, отсутствие которого обнаружилось только в Средней Азии, да и то, обнаружившись, подтверждало неотъемлемость его от русского человека. Московский хлеб — ещё не их хлеб. Но уже вполне нормальный, русский. Он возвращал, ставил всё по местам, позволял замечать подробности.

Уют «мещанский», тёплый и незыблемый, неуязвимый в своей хрупкости. Это ещё не его дом, но уже обычный нормальный дом, и оттого неловко и пыльно почему-то. Сколько нужно времени, чтобы придышалось, срослось, привыкло?

Стенка «Камертон» диссонансом с диваном, круглым столом и вязаным круглым ковриком у двери. В ёмкостях стенки — видеомагнитофон, телевизор на выдвижной полочке и другой прибор с экраном, присоединённый к магнитофону. «Микроша», прочитал Петя.

— Что это?

— Компьютер.

— Что он делает?

— Всё.

Виталик поднимает хрустальную посудинку вековской штамповки:

— Ну! За нас!

— Погоди, командир, — остановил Равиль. — Я чего скажу... А где же? Тут в шкатулке пластмасса была? Это твоя пластмасса, больше ничья быть не может. Я когда оттащил их, вернулись мы, а там обрывки твоей одежды, жетон твой и она, на воротнике пришпилена.

— Я давно её не вижу, — сказала Алия. — Лежала тут и девалась куда-то.

Равиль вспыхнул порохом. Сорвался на крик:

— Ты, чистюля, вечно всё выкидываешь!

— Я не брала её.

— Кто же тогда взял? Кому тут больше всех нужно?

— Я взял. — Раздался из-за диванного валика, из уголка, слабый голосок. И только тут Петя заметил у себя под локтем мальчика.

Тихий, дробненький, с чёрными угольками-глазками, он сидел тут, как большой, не привлекая к себе внимания, глядел спокойно и пристально.

— Тебя как зовут? — успел спросить Петя прежде, чем гнев родительский обрушился на полированную головку с плотно прижатыми прямыми волосами.

— Альберт.

— Зачем тебе это?

— Выучить.

— Ну и как, выучил?

— Только до «василиска».

— Да, там после василиска осталось-то совсем ничего.

— Там осталось: «Яко на Мя упова́, и избавлю и: покрью и, яко позна́ имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое».

— Что ж, ты и после василиска всё выучил. Так зачем тебе ленточка?

Мальчик полез во внутренний карман рубашечки, достал пакетик и отдал Пете. Петя взял пакетик, вынул из него крест и протянул обратно мальчику:

— Возьми навовсе. Крестик мой крестильный, а это можно отдавать. Мне дед мой отдал, и ему тоже отдали. А он всю войну при себе держал... только не бросай и не давай кому попало.

— Что это такое? — Алия с расширенными от ужаса глазами вытянулась вся, упершись руками в стол, на манер деда Ивана. — Равиль, что это значит?

— Это значит только то, что ребёнок целыми днями сидит дома один и предоставлен сам себе. Вот что.

И в самолёте, и в машине, и за минуту до того, разглядывая комнату Равиля, Петя не мог отделаться от чувства одиночества, опустошённости, ненужности своей, всего, что с ним было и будет. Но теперь, глядя в округлившись, как у матери, отражающие и её ужас, и свою решимость глаза Альберта, почувствовал: вот минута, его минута, та, которая из Равилёныша соделает Альберта Равильевича. Ради одной этой минуты уже стоило жить дальше.

— Я не себе предоставлен. Мы с Дарьей Ильиничной нашли. Вернее — я нашёл. А с ней учили.

— Зачем же ты её «закладываешь»? — спросил Равиль. — Ведь знаешь, что мать ругается на неё за Бога?

— Я не закладываю. Я делаю, что велели.

— Кто велел?

— Отец Михаил. Мы с ней не только читали. Мы в церковь ходили.

Я покреститься хотел. Выучил и «Отче наш», и «Царю Небесный», и «Символ веры»... А отец Михаил не стал меня крестить. Он велел сказать про это родителям и проверить, нужно ли мне будет, если заругаются. Он ещё сказал, что первые христиане смертью страдали за свою веру, не боялись. А нынешние стесняются собственной матери признаться, где бывают.

— Ну ладно. Поговорю я с твоим Михаилом, — Равиль обнял жену, гладил голову, плечи, мокрое от слёз лицо. — Обидно тебе? Да, обидно. И даже ни то, что думает не по-твоему, а что вырос до срока. Хотя именно этого следовало и желать. — А другой рукой прижимал себе под мышку щупленькое тельце сына. И тот, красный от смущения, старался не подать вида, что его уж совсем задавили.

Петя приподнял локоть Равиля, вызволил мальчика и притянул

к себе:

— А если она не разрешит, что делать будешь?

— Молиться, — еле слышно прошептал Альберт.

«Упёртый татарчонок, не возьмёшь руками голыми», — подумал Петя, а вслух сказал:

— Поди, умойся. Вон у тебя глазки послезились, и вспотел весь.

Сам же понял, что, в отличие от Альберта, ничего не знает и не умеет. Когда зашли в церковь заказать панихиду по Косте Мазину, убитому в первый час и после размётанному взрывами так, что хоронить оказалось некого, и благодарственную за всех остальных, сказал священнику, что не умеет исповедоваться и боится. Так и сказал.

Оказалось, этого вполне достаточно для первого раза. Стало спокойней, а после причастия пришла благодарность. Она никуда и не уходила, но была другой. «Там» не думал всё время о страхе и смерти. Страх возникал и уходил по мере надобности, как измерительный прибор: то годился, то нет. Смерть была либо nonsensом, либо выходом из боли. Главное же, вместо сна и пищи, как привычка и способ поддержания жизнедеятельности, благодарность за всё: и за жизнь (что дана неотъёмно), и за боль (как доказательство, что ещё живой), и за ужас, позволяющий дважды не попадать в одно и то же положение.

Теперь пришла другая благодарность: ясная, сильная, настоящая. Это была именно благодарность Господу: и за возвращение своё, и за то, что Равиль вытащил живыми двоих, а Виталик прежде ещё одного. Но главное: радовало, что есть Равилёнышек, который знает больше, понимает больше, чувствует глубже. Что он маленький, и жить ему в будущем. Это вдохновляло, сглаживало покаянное, позволяло ощутить опору под ногами.

XVIII

Домой доехать взяли СВ. Оставшись наедине с сыном, Татьяна Ивановна не знала, как вести себя. Суетилась, переключивалась и перевешивала с места на место вещи, ёрзала на диване. То опиралась головой на руку, то откидывалась к стенке. Если бы постель была застелена, легла бы, уткнувшись в угол. Но проводник почему-то долго не собирал билеты, а когда собрал, стал разносить чай.

— Почему ты не разговариваешь со мной, от слова как отмахиваешься? — спросила она.

— Последнее время то и делал, что на вопросы отвечал, а теперь можно не отвечать, и это ценно.

— Сам спросил бы, а я сказала бы.

— Ну, скажи.

— Тебе про кого сказать, про всех или как?

— Конечно, про всех.

Про некоторых Петя уже знал. Например: знал о смерти Игната — успел получить письмо за сутки до того дня.

Игнат умер, испросив себе у Господа кончины безболезненной, не постыдной и мирной. Он пришёл от обедни, ополоснулся, переоделся, лёг и умер. Последней пищей его были Тело и Кровь Христова, а последними словами: «Ну и мир вам в Господний час». Так он всегда говорил, когда хотел повернуться на бок для сна. Бывшие при том не обратили внимания на эти слова его, и лишь увидев тело вытянувшимся, забеспокоились.

Игната не стали раздевать, обмывать, а положили, как был и в чём был, потому что переоделся он в своё смертное, Домнушкой приготовленное. Подхоронили к ней в оградку. На памятнике поместили фотографию с юбилея: семьдесят лет совместной жизни. Там «молодые», счастливые друг другом, глядят, точно видят один другого впервые.

Знал Петя и о смерти Ивана. Не фактом знал, а наитием, ощущением. Ещё «там» понял: нету больше его.

В самый паводок прибрался Иван Прокопович, когда ни пройти ни проехать. Фельдшер предлагал на самолёте лететь в район, в больницу. Не схотел. Зато напоследок спросил стакана, и с похмельной чёрнотой горлом вышла из него жизнь.

Вода стояла такая, что и на кладбище не пронести, и гроба-то путного сделать не из чего, за досками в магазин не добраться. Балашовец на вездеходе за три ездки перевёз родню, припасы и гроб городской. На том же вездеходе подвозил провожавших к подножью кладбищенской горы.

Больше всего не хотел и боялся Иван, что земля могильная расплющит тонкие доски и задавит его. А потому велел подкопаться вбок, поставить столбики: настил вроде рудничного крепежа и гроб подсунуть

как бы под навес земляной. Сделали, ан не вышло. Пропитанная водой земля подвела в последний момент, расселась, задавила.

Бабаня ногами почувствовала, как охнуло под ней в глубине, где стояла. Охнуло да хрустнуло да горькой болью отдалось внутри.

Водки на поминках не было по желанию покойного. Только красное вино. А главное: воды газированной немерено, чтоб старики за всю горькую жизнь сладко попили.

Отскрёбиоткроилшкуркискорняк. Всю положенную землю вспахал и засеял тракторист. Всех внуков на ноги поставил. Только недолбил жены своей. Она осталась после него с недосказанным, недоверенным, в перепалках растоптанным. Так казалось Пете, да так оно и было, и после высказалось Бабаней:

— Мы с ним жили, как игрались: кто от кого скроется. Зачем так-то надо было, не знаю. Может, думали, что нужду эдак легче гнуть, веселей, навроде. Сперва и верно, легче было смешком да перебранкой, а потом правды-истины захотелось, а уж привыкли так-то. И обидно иной раз бывало, да не переиграть ни его, ни меня.

Свидетелем многих перебранок был Петя, но одна помнилась особо. Причиной её ревность была. Приревновал Иван свою благоверную к мальчишкам из училища, постоем у них бывшим. Утром словил её за руку, когда выходила из «холодной», где они спали, с решетом муки.

— Ну, вот и доказ тебе. Была с ними?

— Окстись, поганец! У меня унуки старше их.

— Не знаю, кто тама старше, а только ты...

Петя, с казёнки сквозь занавеску наблюдавший эту сцену, свернул уши трубочкой от эпитетов и гипербол, Бабане адресуемых. Она же, недолго думая, пристроила на мужнину голову содержимое решета, убелив его почтенными сединами до пят. Не дав опомниться, схватила за шиворот: и грохнулась сама, и его грохнула перед иконами на колени. Ему ничего не оставалось, как повиноваться.

— И усходит солнце! И заходит луна! — начала она звучно и торжественно. — Если я грешна, зайдись моя душа! Если же ты, сукин сын, мошенник...

— Молчи, охальница! Перед святым стоишь!

— Если ты, паскудник, набрехал, нехай тебе язык на колени выпрет.

Трижды стукнув лбом об пол, грозная обличительница встала и снова пошла в «холодную» за мукой. Иван не стал завтракать и обедать не пришёл, а сыскался только к ужину, злой и уже не белый.

— Знаешь, игде я был?

— Было б надо, знала бы.

— Я топиться ходил от такой-то жены.

— Ну и как? Топнулось аль нету?

— Если бы топнулось, уже б плакала.

— Я, может, и плакала бы, а ты был бы чёрту баран, вот чего.

Иван не стал мыться, лёг не евши, а утром не смог издать ни звука из-за воспалившихся ночью миндалин. Приехавшей Тане Бабаня сказала:

— Это его Господь наградил за брехню, за неправду.

И ещё: у Вити было ружьё. Висело оно на стене, Иваном не пользованное, потому как не любил с известных пор охотничьего оружия, да и не охотничьего тоже. Однажды в тихую минуту признался он любимой своей, что, когда соберётся помирать, убьёт её, дабы никому не досталась.

— Я и не знала, как жить, и не ведала, что делать, пока Господь не надоумил пожалиться Панкратьеву Косте. Он же — какая ни есть — власть участковая. Дак и пущай преступления предупреждает. Ну, ослобонил меня от напасти Панкратич, выкупил тое ружьё за какие ни то деньги. А наш-то доволен. Сказали, что за ружьё налогу платить больше его стоимости. А он всякого налогу пуще собственной смерти боится, вот и продал. Вы меня с ним в одну могилку не кладите. А то и там брехать станем. И не будет ему Царствия Небесного.

— Почему же ему не будет? — спрашивал Петя. — Может и нам с тобой тоже не будет?

— Мне будет. Господь сам сказал ещё тот раз: «Тебе, Анна, Царствия Небесного не миновать». Так и сказал.

— Почему ты решила, что это Бог был?

— Нечто с кем его спутаешь! Отличен он от всего и видом, и поглядом. А главное, сердцу возле него тепло. Видом-то — навроде человек. А всё не человек. Примерно как большие с детьми в игру играют. Или как на театре актриса-барыня, а всё не барыня: спиной к залу не повернись, не топни, не скакни, а то парик отклеится. Так и Господь с нами. Привыкли мы к виду человека, не боимся человека, знаем, как с ним слово сказать. Вот Он и играет с нами в выгяд человеческий, чтобы не забоялись в одночасье. Может тем, кому навовсе отставаться на том свете, по-другому является. Не знаю да и знать не могу.

— Тебе, говорит, не миновать Царствия Небесного. Ну, я не стала спрашивать, за что мне уж так и не миновать. А только спросила: «А как же, Господи, детей-то куда я дену? С собой не взять, ведь живые они. Только Наде одной руки постреляны. — Таню я под себя толкнула, Надю прижала спиной. Как руки те вывернулись под пули, не понимаю. А Миша малой совсем, спал у ног на земле, как ни причём.

А Он, Господь, и говорит: «Верно. Не выполнила ты пути своего, не пора тебе отбиваться от детей твоих. Да и мужа тоже надо в разум привести». Я за него, за мужа-то, каждый день с того-то молюсь, а вот, поди ты, брехаться с ним не перестала.

Сказывала не раз Бабаня, как из кровавой ямы выползала в полубеспамятстве. Как детей тащила... Потом свои ребята, деревенские, пришли, отправили в партизанский госпиталь, а оттуда самолётом на Большую землю.

— И чаго-йто эта земля большая, а тая — малая? Одинаковая везде

земля: супесная — что тут, что там... И набивала я тама патроны на заводике, вроде как тоже напротив войны стояла. А девочки в школу пошли. А Мишу девать было некуда. Дак он с ними тоже в школу ходил. Сидел тама тихонечко, учился, значит. Ну и доучился, бедак, до того, что и глаз не кажет. Вишь, како. Ученье раньше времени тоже на вред идёт.

Когда после госпиталя кместужительство подвигались, приبلудился к ним телёночек махонький. С ладоней поили, выхаживали, и выросла первая Лыска-корова. Та самая, молоком которой подкармливали пленных немцев. Петя знал, точно сам был там, как дети руками рвали сено для неё по канавам и обочинам.

— За лето нанашивали довольно для одной коровы, — сказывала Бабаня. — Ручки-то до крови сдирали травой, а Лыске не давали голодать. Так и пришли, как победу объявили, в свою деревню сами четверо, да и она.

XIX

За время отсутствия Пети все их ребятишки выросли, стали на ноги. Татьяна Ивановна рассказывала:

— Гусёкин участок Коля наш купил за бесценок при отсутствии наследников. Построились там с Валею на двоих. Он Масленикову Лиду взял, а Валя за солдата вышла. Неказистенький такой, глянуть не на что, а человек. Сперва Коля с ним сдружился в изостудии, а потом и четверо их стало.

Он, Вася этот, не из русских — мордвин или как... А веры нашей. И в церкви все венчались... Мордвы эти единственные, пожалуй, кого отец бить не хотел.

— Певица-то, Русланова, из ихних вроде как?

— Это какая? Лидия Андревна, что ли?

— Ну да.

— Любил он её, Русланову-то. Как известили про тебя, он точно сменился, состарился вдруг разом. Пить вовсе бросил. Он и на свадьбе гулял, и туда к ним ездили... Ничего, живут люди... Свинёнки у них. И овечки пушные какие-то.

Лиза так и прижилась в Ленинграде. С нами одна Наташа осталась, да вот ещё ты теперь. Серёжа на подлодке, и база у них в Дивеево.

— Может, в Ведяево?

— Ну да. Я теперь путаю слова, как ты маленький. Помнишь?

— Как же ты знаешь про слова?

— Да чего же там не знать, если ты называть старался всё по понятному. Например: полуклиника. Не целая, значит. А ещё был, помнишь, пеньсельон Коля. Или Вову, бригадира, благодёром звал, а он обижался. Слова — это вещь заразная. А к старости точно в детство впадаешь.

— Какая же старость?

— Трудная, сынок, горькая чего-то. Хоть спросить, чего горько. Вроде всё, как у людей, а саднит вот здесь. Верно говорят: «Недовольному и кирпич не халва». После тебя мы вроде жили, а уже как и не жили. Порвалось что-то. Здесь вот порвалось.

Она взяла Петины руки, прижала себе под подбородок и первый раз заплакала. Горько заплакала, неутешно, как ребёнок. А он старался поймать ладонями лицо её, смахнуть стереть беду-заботу вместе со слезами. После стало тепло с ней, легко, спокойно.

— Нина твоя, знаешь, услышала про тебя и окаменела будто. А потом, ничего, отошла. Только тут не сошлась ни с кем, а вышла, прости господи, за какого-то латиноамериканского аспиранта. И в Москве с ним живёт, и туда ездила. Не нравится, вишь, ей там. Говорит: «Не обезьяна я, чтобы жить среди пальм». Каши гречневой у них там нету, а это ей не подходит.

Петя спрашивал про всех подряд. Единственная, о ком не спросил,

была Катя Монахова. Почему не спросил? Забоялся, будто некогда про Бога. Он не дружил с ней, не кадрился, не обещал и не требовал обещаний, а просто любил. Всегда любил. С самого начала, когда крохотного ползунчика увидел на крыльце и спас от большой белой свиньи, наглой, как весь Монахов скот, забравшейся на хозяйский двор с целью проверить, что такое шевелится там.

Катя была совсем маленькая, родная и очень красивая. Он катал её на велосипеде, на лошади, привозил из Москвы ей апельсины... А она следила за своими курами, не давая летать на соседский огород. Часто, когда все шли купаться, Катя специально оставалась, чтобы ему не досталось за кур.

Но главным и самым ценным у неё было умение понимать.

Не забылись длинные дождливые дни, когда и носа-то из хаты нельзя было высунуть. В такую непогоду у Монаховых читали. Сиделись в кружок и пускали по рукам какую-нибудь книжку. Чаще всего выбирали большие повествования, чтобы хватило на целый день, реже — стихи. Но именно эти-то стихи и были индикатором понимания. При чтении стихов часть общества (кому не надо это) резалась в дурака, а остальные плотней сдвигались, и тут возникало безусловное единение.

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай, далёко-далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф¹⁴.

Он видел и чувствовал, что каждое слово у всех (и особенно у неё) ложится туда же. Каждый звук отзывается тем же. Стихов не обсуждали, не «потрошили» и не анализировали. Их просто употребляли, как воду, смывая с души шлаки обид и недоразумений.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озёр.

Чудесным образом написанные на бумаге слова прикладывались, калькировались со страниц внутрь, соотносились с теми, кто читал и слушал, с мироощущением их, адресовались каждому особо и всем вместе.

Я знаю весёлые сказки таинственных стран

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя...

Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

Маленькая девочка не могла никак вдыхать тот туман, о котором писалось изначально. Петя знал, о каком тумане и о какой, вдыхающей

¹⁴ Гумилёв Н. Жираф.

его, написано. Только волшебство стиха было такое, что переносило действие и слово на текущий момент и на присутствующих. Потому-то стихи эти относились лично к Кате, ведь именно она больше всех удивлялась и норовила вглядеться в серую дождевую пелену за окном: не мелькнёт ли в глухом, мокром, пронизывающем даже через стёкла сумраке очертание диковинного существа.

В первое же воскресенье, вечером, когда приходит автобус, на котором папсуевские «горожане» возвращаются с выходных, Петя стоял у дверей автовокзала и ждал. Чего ждал? Бог весть. Он ничего не знал о ней: замужем, нет; где работает или учится; и будет ли ехать из деревни в город...

Током пронзала мысль: «А вдруг не узнает её или она не узнает...» Но всё узналось разом. Дверь-вертушка вытолкнула Катю ему навстречу, и первое, что он услышал: «Я знала, что ты будешь здесь».

Видимо, знала. Всё знала. И то, что любил, и то, что всегда помнил, и то, что главной причиной возвращения на родину, о которой не смел даже думать, была она. Пока существовала опасность, не думал о ней. Впрочем, как и много о чём не думал. Но на корабле, когда вовсе одолевали двигатели, глухими беспокойными ночами ворочалась в душе мольба: «Только бы увидеть, один разочек в глаза глянуть. Если замужем, на детей порадоваться». Но при этой мысли становилось так больно, как не было при избиении после побега. Наконец, понял, что ни к чему лицемерить, и решил: «Если замужем, гляну разок, а потом уеду куда-нибудь, хоть из России вон».

Было немного неловко, что известие о замужестве Нины не кольнуло, не задело, но воспринялось как само собой разумеющееся. Теперь казалось, не случись того, на перевале, всё равно бы не сложилось. Прожито уж было с ней: вспыхнуло и прогорело, стремительно и ярко, не оставив ни боли, ни горечи, а только ощущение прошлого, невозвратного праздника.

Остреньким червячком точило любопытство: как это самое не складывалось бы? Поругались бы или как? И очередной раз, точно волна, нахлынула благодарность: «Хорошо, что так вышло».

— Дедко Федос, как про тебя объявили, велел мне в церковь записку отнести, денег дал и потом каждую неделю давал. А я пришла туда, отдала записку и тут вспомнила: записка-то о здравии. Не стала переписывать, а до самого конца писала такие записки. Когда дед умер, стала две писать: про него об упокоении, а про тебя о здравии. Страшно было, больно, а писала.

— Пойдём к нам.

— Мне на завтра много планов писать.

— Всё-таки пойдём. Бабанечка слабая совсем. Хотелось бы, чтоб благословила.

И Катя поняла, приняла, просто, как утром всходит солнышко.

XX

Поезд подходил к городу. Петя отметил, что по сравнению с Москвой их город на подъезде выглядит приличней. Нет бесконечных грязных складов и бесконечного забора, а из леса разворачивается по горе панорама жилых кварталов.

На вокзале ждал автобус, и в нём вся родня сразу. Петю просто растащили «на тысячу маленьких медвежат», а потом поехали на Алтайскую улицу. Дорогой нельзя было смотреть в окна, можно только в глаза, множество глаз. Был будний день, всем надо на работу, а потому встретили его, проводили и тем же автобусом разъехались по своим местам.

Когда оказался на земле, не узнал места. Домнушкина хатка подсобным помещением прижалась у подножья трёхэтажного особняка. Татьяна Ивановна объяснила, что дом этот вообще-то на две квартиры, но соединён общей гостиной, а кухни две, и всего по два.

Первой, кого увидел в кресле у камина, была Марьяна.

— Анечка, дождалась мы! — закричала она в голос.

А потом, как откричали, поведала:

— Коля-то мой умер. Вернее — убили его. Зина ушла к матери, а Стёпа нонеча в тюрьме сидит.

— За что сидит?

— А знаешь, за коноплю, вот за что. Сроду мы тую коноплю садили, и не знали, что за её содят. Чудная какая-то страна... Деда твоего за овчинки тягали, а нынешних за коноплю.

— Брось страну виноватить, — встряла Бабаня. — В конопле, видишь, дурман содержится, а мы про него не знали.

— Чегой-то не знали? Выбираешь, бывалоча, замашки¹⁵, а голова клумлёная под конец дня.

— А на прополке она у тебя, раком стоять, не клумлёная? — нераскаянная грешница, Бабанечка, продолжала успевать вставлять слова у других между звуками. — И ростили-то её на верёвки да на пасконьи, а чтоб курить, того не догадывались, а энти, ушлые, «догнали». И не за коноплю они-то страдают, а за гордыню да за похоть, вот за что.

— Сама-то ты как, Бабаня?

— А как? Вот живу тут. После Коли должники его...

— Не должники, а он ихний должник, или как?

— Ну, нехай и он. Да только какого долга с него, больного-то спрашивать? На что давали? Им-то бы спросить.

— Они-то сами здоровые, что ли?

— Душой они больные, а только мне от того облегчения мало. Они

начали, как смеркнется, в хату ко мне ломиться, гадить на крыльце. Вобщем, долгу требовать. Иван с Федоской и ночевали у меня, и с ружьями хлопали, а всё не впрок. Николушка вот разрешил вопрос. Хатку мою купил за себя, фулюганов энтих сторожами нанял и страусов разводить собирается.

— Видал ты коли ни то страусов? А то гляни, вона яйцо какённое! Жижку всю с него выцедили, а лежит для рекламы какой-то.

— Не для рекламы, а для антуражу или антерьеру.

— Они-то, Монаховы да Ярцевские внуки, всю Папсуевку скупили.

А меня к себе забрали. И теперя живём мы, Анна и Марианна, как в той сказке, где король кричит: «Алё, стражники». У ней, видишь, рак в животе завёлся, а у меня мерцалка открылась. Не знаю, почему она — мерцалка, а мучительно.

— Бог с вами! Какой рак?

— Толстый такой, круглый, только клешней у него нету. Или есть, да не такие, как у речных раков, а метастазами зовут. Вот у меня метастазов энтих много уж развелось. И сосут они меня, да никак не высосут, рано, видать, да и слабо им.

— Болит?

— Когда болит, а чаще Лида уколы делает, и не болит.

— Живётся-то в городе легче или как?

— А хорошо живётся.

— Главное, печку топить не надо. Остобрыдла она, проклятущая.

— На что ж ты кормилицу-то сквернословишь?

— А на то. Тебе за мужиком да за детьми и печь ни во что. А мне торф да дровы красть надоело. Тебе вон Царствие Небесное обещано, а мне за воровство моё на том свете ещё скоко годов дровы краденые волочить?

— А ты заступницу-то попроси, дак она и замолвит словечко про дровы.

— Комнатка у нас, холодильник и плитка, чтобы молодым не докучать, если чего поесть захочется. Нам хорошо с ними. Деточки, опять же, маленькие. Вечно возле нас, а мы возле их, так и греемся. Мы в ихние дела не лезем, а они глядят, как нам чего надо. Хорошо глядят, душевно. Домики наши в Папсуевке стоят, картошку содим тама и летом живём.

— Да... Папсуевка — место, где никогда не бывает зимы.

— Это как же не бывает? Нечто можно без зимы? Красоты такой-то лишиться? Особенно вечером: по лощинам-то синевато, а за под заборами и лиловое, а верхами серебро подёргнутое. А всё-таки бело. И в свинцовом небе облака розой подсвечены... Как же без зимы? Божье ведь творение?

¹⁵ Посконь — мужские растения конопли.